

НА 1927 ГОД предлагается подписка на КЛИНИЧЕСКИЙ АРХИВ

Гениальности и одаренности (Эвропатологии)

посвященный вопросам патологии гениально-одаренной личности, а также вопросам одаренного творчества, как или иначе связанного с психопатологическими условиями.

Клинический Архив гениальности и одаренности доступен не только специалистам, но и тем читающим кругом, которые интересуются пограничными областями психопатологии и биологии, как то: врачам, артистам, педагогам, общественникам, инженерам, художникам, литераторам, музыкантам и пр.

Клинический Архив гениальности и одаренности на 1-й (1927) год своего существования напечатан для следующие оригинальные работы:

I. По отделу общей Эвропатологии.

1. О задачах эвропатологии как отдела отрасли психопатологии. Д-ра Г. В. Сегалина.
2. Патогенез и биогенез великих людей "
3. Гистостатическая реальная гениальной одаренности "
4. Структура эвро-эпипсихических (т. е. творчески-активных) типов "
5. Механизм выделения эвро-активных приступов "
6. Психо-эвропатическая пропорция гениальной одаренности "
7. Сдвиги психо-эвропатической пропорции гениальн. одаренности "
8. Симптом „иллюзия уже виденного“ как творческий симптом. Д-ра К. И. Саворцова.
9. К вопросу о соматическом исследовании лиц выдающихся психических способностей Д-ра Б. К. Гиндце.

II. По отделу Патогграфическому.

10. К панографии Льва Толстого Д-ра Г. В. Сегалина
11. К панографии А. С. Пушкина Я. В. Мини.
12. Скробки. Сплет Панографии И. А. Юрман.
13. Дельфий Маврима Горького И. Б. Галант.
14. О суицидологии (мания самоубийства) М. Горького "
15. Пурномагия (мания бродяжничества) М. Горького "
16. О синдроме состояния М. Горького "
17. Генеалогия М. Горького "
18. Врубель с психопатологической точки зрения М. И. Цубинной.

Клинический Архив гениальности и одаренности выходит отдельными выпусками 4 раза в год под редакцией основателя этого издания д-ра Г. В. Сегалина доцента Уральского Политехнического Института при участии: проф. В. П. Осипова (Ленинград), проф. Г. И. Россолимо (Москва), Д-ра J. K. Koubinowitch (Париж), проф. J. Shakeri (Белг), Германия), проф. М. И. Асаацагурова (Ленинград), проф. В. П. Кащенко (Москва), проф. С. П. Давыденкова (Москва), проф. В. А. Гильеровского (Москва), проф. К. И. Платонова (Харьков), проф. В. М. Гайсебуш (Киев), проф. А. О. Геймановича (Харьков), доц. И. А. Юрман (Ленинград), доц. д-ра А. А. Капустина (Москва), доц. Л. М. Розенштейна (Москва), препод. д-ра А. С. Шоломовича (Москва), препод. М. И. Цубинной (Москва), Б. К. Гиндце (Москва), д-ра И. Б. Галант (Москва), д-ра К. И. Саворцова (Владимир), д-ра Я. В. Мини (Москва) и Алек-ра Крели (Москва).

Имеются комплекты 25 и 26 года.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

за год 6 руб., на 1/2 года 3 руб.

Подписка в рублях издается: «Практическая Медицина» Ленинград, проспект Володарского, 49.

Все справки у редактора д-ра СЕГАЛИНА, Свердловск (бывш. Екатеринбург), улица Вайнера № 46.

КЛИНИЧЕСКИЙ АРХИВ

Гениальности и Одаренности

(ЭВРОПАТОЛОГИИ)

ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ
ПАТОЛОГИИ ГЕНИАЛЬНО-
ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ,
А ТАКЖЕ ВОПРОСАМ ПА-
ТОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА

ВЫХОДИТ ПОД РЕДАКЦИЕЙ
д-ра Г. В. СЕГАЛИНА

ВЫПУСК ТРЕТИЙ

Том II

1926 г.



СКЛАД ИЗДАНИЯ «ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»
ЛЕНИНГРАД, ПРОСПЕКТ ВОЛОДАРСКОГО, 49
ИЗДАНИЕ РЕДАКТОРА

Уралобллит № 3648.

Тираж 1000.

г. Свердловск, типография «Гранит» Уралполиграфа. Заказ № 1587

Эвропатология гениальных эпилептиков.

Форма и характер эпилепсии у великих людей.

Д-ра Г. В. Сегалина.

Приступая в этих главах к изучению европатологии гениальных эпилептиков, мы должны сначала остановиться на вопросе имеются ли, прежде всего, эпилептики великие люди вообще, и, если таковые имеются, то не составляют ли они такую малочисленную группу, чтобы можно было делать какие-либо европатологические выводы. Затем, другой вопрос, который при этом возникает, это следующий: к какой форме эпилепсии принадлежит это заболевание у великих и замечательных людей. Не отличается ли эпилепсия у великих людей какими нибудь особенностями? Все эти вопросы должны быть предварительно освещены прежде, чем приступить к изучению той специальной части, которая нами выделяется, как «специальная европатология гениальных эпилептиков». Освещением этих вопросов и займется настоящая работа, поскольку рамки статьи позволят нам это сделать. Но предварительно сделаем несколько замечаний по поводу современного состояния вопроса об эпилепсии вообще.

Еще очень недавно в круг понятия «эпилепсия» включались самые различные клинические состояния: мигрень, дипсомания, нарколепсия, пикнолепсия, эпизодические сумеречные состояния, аффект-эпилепсия, эпилептическая психопатия и проч. моносимптоматические эпилептоидные заболевания (помимо, конечно, самой genuинной эпилепсии). Все эти самые различные формы, входящие в понятие «эпилепсии», рассматривались, как клиническое выражение (или проявление) одной и той же патологической причины, вызывающей все эти явления (Samt, Крепелин, Aschaffenburg, Gaupp). По воззрению этих авторов вся пестрота эпилептических состояний является как бы выражением единой эпилептической конституции, элементы которой могут быть заменены друг другом в эквивалентах.

В настоящее время такое единое понятие об эпилепсии под влиянием критики (Kleist'a и друг.) начинает заменяться множественными конституциональными единицами (вместо единой эпилептической конституции с различными проявлениями), соединяющимися друг с другом, или же они проявляются клинически, как отдельные моносимптоматические болезни. Получается так, как будто вместо одного эпилептического gen'a должен быть целый ряд таких самостоятельных gen'ов. Несмотря на то, что учение о конституции в отношении эпилепсии этими новыми тенденциями как бы расширяется, однако, еще все таки не дока-

зано, что все эти различные формы и проявления эпилепсии имеют действительно различные гены, точно так же, как еще не доказано, что все эти формы есть проявления одного гена.

Так или иначе такая попытка выделения отдельных эпилептоидных заболеваний, как заболеваний, представляющих самостоятельные конституциональные единицы — есть уже шаг вперед в учении об эпилепсии. С точки зрения таких новых тенденций весьма интересно будет проанализировать эпилепсию у великих людей с ее специфическими особенностями. Мы увидим далее, что те авторы, которые стоят на точке зрения существования множественных конституциональных единиц в эпилепсии, найдут здесь еще одно подтверждение своей идеи.

Дело в том, что у великих людей (как это мы увидим далее) существуют в большинстве случаев определенные формы эпилептического заболевания, т. е. иначе говоря, у них имеется определенная эпилептическая конституция (если мы будем говорить языком тех авторов, допускающих существование множественных конституциональных единиц в эпилепсии). Иначе говоря: *гениальная (или выдающаяся) одаренность, если она сочетается с эпилепсией, то обязательно сочетается с определенной формой эпилепсии* (или вернее с определенной формой эпилептической конституции).

Какая это будет форма эпилепсии — увидим после, пока же ответим на первый вопрос, который мы ставили в начале: имеется ли достаточное количество эпилептических или эпилептоидных заболеваний у великих людей, чтоб можно было говорить вообще о какой либо форме эпилепсии у великих людей?

На основании всех собранных автором сей работы, предварительных материалов, в существующей литературе, можно определенно заключить, что имеется до 30 имен великих и замечательных людей, у которых можно констатировать наличие тех или иных эпилептических или эпилептоидных заболеваний. Такое количество составляет уже настолько изрядную группу, чтоб можно было сделать тот или иной вывод при изучении этой группы. Правда, истории болезни отдельных частей этой группы еще недостаточно полны и во многих отношениях их следует пополнить новыми изысканиями. Однако, уже на основании того, что имеется, можно сделать те или иные выводы и на основании имеющихся у нас данных приступим к освещению основного вопроса, поставленного нами целью этой работы.

Итак, какая форма эпилепсии присуща великому и замечательному человеку, если он заболевает эпилепсией?

Частично ответим на этот вопрос сейчас же, в самом начале.

Так называемая гениальная эпилепсия совершенно исключается у великих людей: т. е. иначе говоря, совершенно исключается у великих или замечательных людей возможность появления такой формы эпилепсии, где бы исходным состоянием было эпилептическое изменение личности в смысле прогрессирующего

эпилептического слабоумия. *Такой эпилепсии у великих или замечательных людей не бывает.*

По крайней мере, на нашем материале мы не могли найти ни одного случая, и с нашей точки зрения совершенно исключается такая возможность. Мы здесь об этом заявляем в самом начале разбора наших случаев, дабы раз навсегда устранить то возможное недоразумение, которое всегда и раньше возникало при разборе этого вопроса еще у прежних авторов. Вопрос о возможности эпилепсии у великих людей — старый спор, который всегда базировался на недоразумениях (например, спор о том, была ли эпилепсия у Наполеона). Спор этот всегда основывался на различных содержаниях, вкладываемых в понятие «эпилепсия» различными авторами того времени, когда учение об эпилепсии было еще более расплывчато, нежели теперь. Например, те, которые отрицали у Наполеона эпилепсию, как болезнь (несмотря на наличие достоверно доказанных припадков эпилептического характера), аргументировали свое отрицание тем, что, дескать, у Наполеона не было того неперемennого признака эпилепсии — эпилептического слабоумия (подразумевая при этом генуинную эпилепсию); наоборот, говорят эти авторы, Наполеон — человек выдающегося ума и способностей, — следовательно на этом основании он не мог быть эпилептиком. Другие же авторы, утверждавшие эпилепсию у Наполеона, подразумевали не генуинную форму эпилепсии, а другие формы. Таким образом, существовал спор, основанный на недоразумении в толковании понятия «эпилепсия». Чтоб не возникла возможность такого недоразумения, мы в начале нашей работы и предупреждаем; о генуинной эпилепсии у великих людей говорить не приходится потому, что этой формы эпилепсии у них нет, и, следовательно, она не может входить в круг наших исследований.

О какой же эпилепсии здесь может быть речь?

Чтоб ответить на этот вопрос, приведем несколько историй болезни великих и замечательных людей. Приведем следующие имена: Лев Толстой, Достоевский, Чайковский, Байрон, Эдгар Поэ, Наполеон, Флобер и другие. Все они страдали припадками эпилептического характера. Для этого приведем историю болезни каждого, где мы и увидим характер и форму этих припадков. Причем считаю нужным оговориться, что полнота историй болезни того или иного лица зависит лишь от недостаточности материала, имеющегося в данный момент у автора этой работы, а не от недостатка его в литературе вообще. В некоторых случаях приводятся очень краткие данные лишь потому, что положения автора в них достаточно иллюстрируются.

Наполеон I.

О наследственности его известно следующее: отец — алкоголик. Умер будто-бы от рака в молодые годы. Рисуеться в биографическом материале, как человек «лишенный нравственных чувств» и как человек с патологической психикой. Сестры Наполеона —

истеричны. Брат — «жадный и чувственный эгоист». О матери Наполеона говорится, что она была «властная, умная, серьезная и решительная особа». Внешность Наполеона самого по Ломброзо изобиловала многими физическими признаками дегенерации: мал ростом (1 метр 51 сантиметр), несоразмерные и непропорциональные туловищу руки, короткие ноги, непропорциональные другим частям тела. Округлость черепа не превышала средней величины. Голова мезоцефала с вдавленными висками также имела много аномалий: громадные челюсти, выдающиеся скулы и глубокие впадины глаз, редкая борода. Асимметрия лица; голова сидела глубоко между плечами. Спина несколько согнута, странные явления гиперэстезии. Комната Наполеона топилась до июля месяца. Чувствовал запахи, которых никто не замечал (галлюцинация обоняния). Чрезвычайно чувствителен к метеорологическим явлениям, например: предчувствовал перемену погоды. Становился невыносим в туманные сырые дни. Страдал частыми мигренями. Постоянные подергивания правого плеча и губ, а во время приступов гнева — и икр; «я, вероятно, был очень рассержен (сознавался он после горячего спора), потому что чувствовал прожание моих икр, чего давно со мной не случалось». Пульс 50 — 55 ударов в минуту. О его судорожных припадках свидетельствуют следующие данные. Еще будучи учеником в Бриенской военной школе, с Наполеоном сделался судорожный припадок, когда однажды он был подвергнут наказанию, и начальство школы было так перепугано, что немедленно сняло с него кару.

По свидетельству Константа, 10 сентября 1804 года у Наполеона был припадок, а несколько часов спустя «у него было удушье, характерное для эпилепсии». Очевидцем этого припадков Наполеон запрещал говорить. Констант свидетельствует, что видел сам Наполеона в эпилептическом припадке.

Об эпилептических припадках Наполеона мы имеем еще целый ряд исторических данных, свидетельствуемых в мемуарах целого ряда лиц, которые вовлекались в неприятное положение невольных свидетелей этих припадков. Так, известен и описан в мемуарах случай с актрисой Жорж, которая была так испугана припадком, случившимся с Наполеоном ночью, когда она была у него во дворце, что принялась кричать и этим привлекла в спальню не только слуг, но и самую Жозефину. Когда Наполеон пришел в себя, то сильно избил Жорж за этот поступок. Затем, одна придворная дама, г-жа Ремюза, сопровождавшая в Майнц двор, в своем дневнике говорит, что с Наполеоном ночью сделался сильнейший припадок, а так как в ту эпоху в комнатах не было звонков, и даже не нашлось в тот момент под рукой свечи, то Жозефине пришлось полуодетой пойти к дежурному ад'ютанту и попросить свечу. Она провела ночь в страшной тревоге, ожидая кризиса, и когда все миновало, отдали строгий приказ, — ничего не рассказывать, но об этом быстро узнали все. Актриса Жорж настойчиво уверяла, что у Наполеона была падучая болезнь.

Констан в своих мемуарах, говоря о Наполеоне, рассказывает, как однажды ночью из спальни Жозефины раздались стоны и крики. Вбежав туда, Констан увидел Наполеона распростертым на постели, без движения, с судорожно прижатыми к груди руками и с открытым ртом. Придя в себя, он объяснил, что все это произошло вследствие тяжелого кошмара. Талейран также был свидетелем припадка, который случился с Наполеоном в Страсбурге, когда он однажды гневный «вылетел, как ураган» из комнаты Жозефины, схватил Талейрана за руку и, втащив в соседнюю комнату, запер за собой дверь. Там он упал и в конвульсиях стал кататься по полу, со стонами и пеной у рта. Придя в себя, он попросил Талейрана никому не говорить о случившемся. Через полчаса он отправился в Карлсруэ. К психическим симптомам эпилепсии можно отнести следующие данные. Моментальные затмения сознания, столь характерные для эпилептиков, констатировал еще Ломброзо. Уольселей заявлял, что план Бородинского сражения не удался, благодаря «временной парализации умственных способностей» Наполеона (*Revue Bleue*, Mars 1894). Точно также под Дрезденом будто — «внезапное затмение ума помешало ему принять необходимое решение, и он потерял благодаря этому плоды своей победы». Наполеон был чрезвычайно вспыльчив по поводу самых ничтожных поводов. Эта вспыльчивость доходила у него до бешенства. В состоянии такой вспыльчивости он мог прибегнуть к насилию и агрессивным действиям, например, избить любого человека. Таким диким вспышкам гнева он был подвержен еще с детства. Однажды он дал пинка ногою Вольнею, сказавшему при нем, что «Франция желает Бурбонов». Бертье он ударил кулаком, когда тот не во-время приветствовал его титулом «короля французов». Своего адмирала он бил хлыстом также, как своих конюхов, если они не так быстро исполняли его приказания. Своего брата Людовика он раз вышвырнул из комнаты. Не терпя задержек в своих волевых проявлениях, он швырял в огонь одежду свою, которую ему не удавалось одеть сразу. Часто в припадке гнева своего, он с досады бил себя по голове, а иногда этот гнев оканчивался судорожным припадком. Сам Наполеон говорил о своей аффективности и раздражительности таким образом: «Мои нервы всегда возбуждены, а если бы моя кровь не текла так медленно, то я давно бы сошел с ума».

К другим его психическим особенностям, характеризующим его эпилептическую натуру, принадлежит его крайний эгоизм и эгоцентризм, доведшие его в своем развитии до возведения своего «я» до крайних пределов. Этот эгоизм проявлялся в нем еще с детства — он не знал ни стыда, ни совести в проявлении своего чудовищного эгоизма.

В соревновании он не терпел соперников, колотил своих товарищей без пощады за то, что не преклонялись пред его «я», в то же самое время обвинял своих жертв в том, что они побили его. По его мнению, «человек должен управляться своими соб-

ственными эгоистическими страстями: страхом, алчностью, честолюбием, соревнованием. Кто им противится, тот погибает». И действительно, этим правилом Наполеон руководствовался всю жизнь и никогда от него не отступал. Ради этого правила он не брезгал ничем. В разговоре с Жозефиной он говорил: «Я не такой человек, как другие, а законы морали и приличия созданы не для меня». И действительно, для Наполеона цинизм, наглость, скрытность, подкупы, обманы, преступные услуги какого угодно сорта—все средства были хороши, лишь бы они вели к его цели.

Из этих всех данных бросается в глаза, что припадки Наполеона, констатируемые теми или иными свидетелями, всегда отличаются тем, что им всегда предшествовало то или иное аффективное переживание, следовательно, носили психогенный характер, присущий аффект-эпилептикам, поэтому мы можем без сомнения говорить, что эпилепсия Наполеона есть ни что иное, как аффект-эпилепсия. Вся картина его болезни, все особенности его психики говорят в пользу такой диагностики.

Чайковский.

Как известно, Чайковский страдал припадками с потерей сознания, об этом говорит Фейс*), об этом говорит также Модест Чайковский (брат композитора). Такими же припадками страдал дядя и дед Чайковского. К сожалению, мы не имеем подробного описания этих припадков. Но мы имеем определенные указания на то, что припадки эти всегда связывались с эмоциональными переживаниями Чайковского, следовательно, носили психогенный характер. Об этом говорит также Игорь Глебов («Чайковский», изд. центрального кооперативного издательства «Мысль» 1922 г.), который пользовался источниками, еще не опубликованными и почему то не пожелал ащими опубликованию и, следовательно, имел основание «между прочим» высказаться о связи припадков с аффективностью Чайковского. Игорь Глебов об этой связи говорит следующее (стр. 85):

«Организм Чайковского был как-бы аккумулятором. В нем до какого то предела скоплялся заряд жизненных ощущений и впечатлений. Потом следовал внезапный разряд — *нервный ли припадок**)*, мимолетный и быстро, бесследно исчезающий, или же длительное, острое, нервное расстройство. *Обычно все это совпадало с тягостными событиями и испытаниями порой чисто житейского порядка*, но могло и не совпадать, а отзываться как-бы на расстоянии. Раз совпав с запутанными отношениями, разряд нервной энергии вызывал необходимость в ином направлении жизни и работы и в перемене обстановки. Так было в первый год жизни мальчика Чайковского в Петербурге, когда связанные с отъездом из Воткинска и со вступлением в новый круг жизненных отношений перемены потребовали от хрупкого, чувствитель-

*) Освальд Фейс „Генеалогия и психология музыкантов“, Москва 1911 г.

***) Здесь и дальше курсив наш (Г. С.).

ного организма ряда сложных приспособлений и усиленной работы воображения, впечатления от которой скапливались и, наконец, вызвали нервное потрясение (замечание автора, — так было, как я упоминал, еще и в Воткинске, в связи с первыми музыкальными впечатлениями, так было и потом не раз в жизни Петра Ильича). Результат таких разрядов был всегда благодетелен для здоровья, и таким образом, сама природа, помимо воли обладателя этим чудным организмом, регулировала правильность жизнеповедения и в момент высокого давления как бы сам собой во время открывался клапан парового котла, чтобы выпустить скопившиеся пары» (стр. 85 — 86).

Из этого отрывка Глебова мы можем заключить, что припадкам предшествовали обычно переживания «тягостных событий и испытаний порой чисто житейского характера», т. е. попросту говоря — связанные с переживаниями неприятного характера. Так было всегда и в юности — мальчиком и после, в разных периодах жизни. Кроме того, из этих данных Глебова мы также можем заключить, что эти эмоциональные (resp. аффективные) переживания не всегда отреагировались припадком, иногда он выливался в психический эквивалент — в форме длительногострого «нервного расстройства».

Таких «нервных расстройств» с припадками или без припадков мы имеем в жизни Чайковского целый ряд. Приведем их здесь хронологически.

8 лет от роду (в июне 1849 г.) Чайковский во время его пребывания в пенсоне заболевает корью и заболевает «нервным расстройством» и страданием «спинного мозга» (по словам биографа). Это «нервное расстройство» и страдание «спинного мозга» по видимому и есть начало тех эпилептических или эпилепто подобных припадков, связанных с повышенной раздражительностью и аффективностью этой эпохи его жизни, ибо, по словам биографа — «от скромного, послушного мальчика не осталось и следа. Он стал ленив; капризен, раздражителен, несдержан». «Эта эпоха в жизни Чайковского была тем переходным моментом, когда впечатлительная душа его, не столько борясь, сколько находясь в оппозиции ко всем близким и далеким, из мальчишеского упрямства и бунтарства не желала налаживать отношений в смысле видимого послушания и примерности». Конечно, дело тут не в мальчишеском упрямстве и бунтарстве 9-ти летнего мальчика, бывшего до сих пор «скромным и послушным», а в том, что он переживал нервный перелом в связи с нервной болезнью. Начались нервные припадки.

Помимо приступов возбуждения раздражительности, вспыльчивости, Чайковский начал страдать приступами тоски и страха смерти. «Тоска вошла в его жизнь с этих пор (говорит биограф), как доминирующее начало. Поступивши в 1850 году в училище правоведения, за время его пребывания в этом училище эти приступы продолжались. Тоска его была такого рода, что обращала внимание даже посторонних». С этих пор эти приступы депрессии и страха смерти Чайковского не покидают всю жизнь.

В 1861 году (21 году от роду) «психический кризис, период мучительных сомнений, отчаяния в моменты отрезвления от лихорадочной погони за удовольствиями», кульминационный пункт праздной эпохи существования Петра Ильича. «Ревнивая самонадеянность и скрытность».

В 1866 году (26 лет от роду) сильный приступ психического расстройства, выразившийся в следующих явлениях: галлюцинации, страхе смерти, омертвлении конечностей».

В 1875 году переживает сильное нервное расстройство, вызванное различными неприятностями, причем доктора воспретили ему всякие музыкальные занятия. Болезнь выразилась в приступах возбуждения, в приступах депрессии и страха. «Острое усиление приступов болезненной тоски»... «во вне проявляющейся в разочаровании в окружающих людях и в возникновении навязчивой идеи о необходимости найти исцеление в совместной жизни с любящим и понимающим все эти стремления человеком. В одиночестве—тоска по людям, при людях — тоска по одиночеству. Напряженнейшее тяготение к смене явлений, к неустойчивости, к постоянному контрасту между буйным изживанием жизненных сил в творческом бдении и между инстинктивным опасением быть одному вне общей жизни, т. е. непременно сжигать себя. В Москве тоска по Италии. В Италии — по Москве». (Цит. Игорь Глебов «Чайковский»).

В 1877 году с 24 сентября по 25 октября острое нервное расстройство, которое окончилось попыткой к самоубийству. Случилось это в связи с женитьбой. Весной 1877 года, увлеченный мыслью об опере «Евгений Онегин», Чайковский получил письмо, содержавшее объяснение в любви от бывшей ученицы Московской консерватории М. И. Милюковой. Прошло некоторое время, он получает второе письмо от нее с угрозой покончить с собой. «В моей голове все это соединилось с представлением о Татьяне, а я сам, казалось мне, поступал несравненно хуже Онегина и я искренно возмущался на себя за свое бессердечное отношение к полюбившей меня девушке». Чайковский свиделся с Милюковой. Тронутый ее преданностью, он был окончательно смущен. Чайковский через некоторое время заявил ей, что любви к ней не чувствует и не почувствует, но что если, несмотря на это, она пожелает выйти за него, он готов жениться. Она, повидимому, согласилась. Все это он упорно держал в тайне от всех друзей своих. Май и июнь, в виду отъезда Милюковой, Чайковский продолжать сочинять «Евгения Онегина». Милюкова вернулась, известила Чайковского, он приехал в Москву, и 6-го июля они повенчались. На лето Чайковский уехал к сестре в Каменку, где продолжал работать. Осенью, вернувшись в Москву, он нашел уже новую квартиру, устроенную его женой. Но тут вскоре Чайковский заболевает психически. Он решает покончить жизнь самоубийством. Однажды поздно вечером он пошел на пустынный берег Москвы-реки и «никем в темноте невидимый, вошел в воду почти по пояс и оставался так долго, как только мог вы-

держат ломоту в теле от холода». Чувствуя себя больным, Чайковский по телеграмме, присланной по его же просьбе из Петербурга, выехал туда. По совету психиатра один из братьев вскоре увозит его за границу.

Особенно тяжелыми для Чайковского были *приступы страха смерти*. Эти приступы причиняли Чайковскому тяжелые страдания.

Эти приступы у него начались, как мы уже говорили выше, еще мальчиком, в училище правоведения в 1850 году и после этого остались доминирующим началом в его психике. Они повторялись затем в его жизни, время от времени, но особенно резко выступают в острых приступах. Так было в 1861 году (21 года от роду), так было также в 1866 году (26 лет от рода). Здесь биографом отмечается, что эти приступы сопровождались галлюцинациями. Какого характера были эти галлюцинации, — он об этом не говорит. Во время поездки летом, в 1893 году, в Лондон, Чайковский о своем очередном приступе тоски и страха пишет своему племяннику письмо 17/V—93 г.: «я страдаю не только от тоски, не поддающейся выражению словом (в моей новой симфонии есть одно место, которое, кажется, хорошо ее выражает), но и от ненависти к чужим людям, от какого то неопределенного страха и еще чорт знает чего»; «физически это состояние выражается в боли в нижней части живота и в ноющей боли и слабости в ногах».

Из всех этих данных мы можем вывести следующее заключение:

Чайковский принадлежал к семье, где была конституциональная склонность к эпилептоподобным припадкам (дед и дядя были подвержены припадкам). Сам Чайковский страдал припадками, сопровождавшимися потерей сознания. Всегда эти припадки связывались с сильными душевными возбуждениями и аффективностью. Эти припадки нельзя отнести к чисто истерическим припадкам, ибо у него были еще и другие симптомы, говорящие больше за аффект-эпилептические припадки; например, патологические приступы страха, преследовавшие его всю жизнь, связь аффекта с припадком, состояния, похожие на сумеречные состояния, приступы экзатических состояний и вообще вся картина болезни Чайковского напоминает больше аффект эпилептическую картину, где истерические симптомы смешиваются с эпилептическими, а не являются самостоятельным комплексом.

Эдгар Поэ.

О наследственности Поэ нам известно следующее: он происходит из старинного рода, представители которого всегда отличались эксцентричностью и легко возбудимой психикой. Сам Поэ характеризует себя, как потомка рода, который еще издревле отличался сильным воображением и легко возбудимой эмоциональностью. О каких либо определенных душевных за-

болеваниях среди родных, нам неизвестно. Отец Поэ представлял собой дегенеративный тип с неуживчивым характером, который вел бродячий образ жизни и рано умер от туберкулеза. Поэ характеризует своих родителей, как людей слабовольных и, кроме того, страдающих «теми же наследственными недостатками». Сам поэт Поэ уже по внешности представлял собой также выраженный дегенеративный тип; громадный лоб с известными отклонениями в строении черепа, которые говорят о том, что в раннем развитии организма Поэ перенес мозговой недуг, а именно мы имеем гидроцефалический тип черепа. Кроме того, бросается в глаза асимметрия лица с громадными, блестящими глазами с широкими зрачками (часто у эпилептиков).

Ребенком Поэ отличался чересчур ранним развитием и считался вундеркиндом. Отличался он также необыкновенной возбудимостью, аффективностью, «страстностью» и упрямством характера.

Относительно своего раннего развития сам Поэ говорил о себе: «я пришел к заключению, что все раннее развитие, большей частью, необычайно... Да! Даже болезненно». Когда началась его болезнь, точно неизвестно. Повидимому, начало болезни совпало с началом половой развития. В это время, когда он учился в высшей школе, начался первый приступ депрессии. Эти приступы депрессии затем повторялись во всю его жизнь. И эти приступы депрессии были совершенно независимо от внешних обстоятельств (хотя окружающие всегда давали объяснения внешними обстоятельствами жизни). Что это так, доказывал, например, приступ, пережитый им в конце 1835 года, когда никаких внешних оснований для депрессии не было, и все таки он пишет своему приятелю: «...все таки, мне часто представляется так, что никакой радости и никакого удовлетворения не мыслимы для меня на этом свете, не возможны; я действительно достоин сожаления, я страдаю от такой разбитости, хуже какой я никогда не переживал. Напрасно я пробовал против этой меланхолии бороться... Мне тяжело и не знаю, отчего». В ответ на это письмо Kennedy удивляется, что его депрессия началась тогда именно, когда началась его блестящая слава и материальное благополучие. В его признаниях о его болезни он часто называет слово «меланхолия». В эти периоды он не мог ничего создавать. Периоды депрессии у него сменялись периодами повышенного настроения, когда и создавались его произведения. Вследствие этих колебаний в настроении Поэ производил то впечатление хорошее, то впечатление человека тяжелого, с которым трудно иметь дело, и с которым приходится ссориться.

Кроме других симптомов эпилепсии Поэ страдает эпилептическими припадками. Поэ сам мастерски описывал эти припадки со всеми *praе* и *post* эпилептическими явлениями. В «Мнимом покойнике» он описывает начало припадка: началась тошнота, меня охватило онемение в руках и ногах и во всех частях туловища, меня охватила дрожь, затем началось головокружение, и вдруг я падаю,

как сноп». «После состояния полной бессознательности, следовало слабое возвращение сознания», он чувствует состояние неподвижности, чувство острой боли, которая переносится апатично. Никакой боязни, никаких надежд, никаких движений. Затем после некоторого промежутка наступает шум в ушах; после колючие ощущения, мозжание в руках и в ногах; затем бесконечно длящееся состояние приятного покоя, наконец, он внезапно приходит в себя; подергивание век; он продолжает несколько минут находиться в состоянии спутанности и непонимания, что происходит с ним, пока мысли и воспоминания опять полностью не возвращаются».

Этим припадкам предшествуют часто экстатические переживания ауры, переживания необычайно о чувства счастья, или же эти состояния происходят взамен припадков (эквивалент). Внезапно он начинает как бы чувствовать необычайные тайны существования; вдруг ему освещаются молниобразно самые недоступные области, куда еще человеческая мысль не проникала». Часто всплывает чувство, что он все это уже давно пережил и что он чувствует связь с прошлыми тысячелетиями. Поэ обозначает эти ощущения как «туманные видения, странные, спутанные, сгущенные представления из времен, когда его память еще не получила свое существование».

Отмечается у Поэ — аффективность и раздражительность эпилептического характера. Эта аффективность служит причиной, что он не мог ужиться со своими близкими и расстался с ними.

Приступы сумеречного состояния были также у Поэ. В состоянии такого тяжелого сумеречного состояния были его поездки в Грецию, а после, очутившись в Петербурге, это сумеречное состояние прекратилось. Наиболее тяжелым симптомом его эпилептического характера были периодические приступы запоя (Dipsomania). Эти дипсоманические приступы у него начались рано. Эту дипсоманию надо рассматривать, как результат его эпилептического заболевания, а не наоборот; эпилепсия не есть следствие его алкоголизма (как можно было бы предположить). Доказательством того, что приступы дипсомании — были следствием эпилепсии — (по мнению Probst'a*) является то обстоятельство, что перед дипсоманией у него наступали ауральные и экстатические приступы, во время которых он развивал необычайную творческую продуктивность; и создание большинства его замечательных произведений всегда происходило перед этими кризисами. Так была, например, создана его «Неугека». Также его знаменитое произведение «Raben» носит все следы такого приступа. Конечно, алкоголизм Поэ умножал и усложнял основную болезнь новыми симптомами: галлюцинациями и делириозными состояниями. Произведения Поэ проникнуты всеми этими симптомами. Большинство из них построено на этих делириозных и галлюцинаторных состояниях.

*) D-r F. Probst, Edgar Allan Poe, München 1908.

Вся картина эпилепсии Элгара Поз вырисовывается нам так же как аффективная форма эпилепсии. Чрезвычайно экзотичная и аффективная неуравновешенная натура Поз, его приступы страха, сумеречных состояний, дипсомании и все прочие симптомы убеждают нас в справедливости этой диагностики.

Лев Толстой *).

Для характеристики наследственности Толстого приведем слова одного из представителей рода Толстых — М. Г. Назимовой из ее «Семейной хроники Толстых».

М. Г. Назимова говорит, что *в каждой семье каждого поколения Толстых имеется душевно-больной*, что, действительно, можно отметить в генеалогии Толстых. Помимо душевно-больных еще больше мы имеем в каждой семье членов с психопатическим характером, или имеются препсихотики с шизоидными чертами психики.

Замкнутые, эксцентричные, вспыльчивые, взбалмошные, странные чудачки, авантюристы, юродствующие и склонные к крайнему религиозному мистицизму, иногда сочетаемому с ханжеством, крайние эгоисты, сенситивные и проч.

К таким типам, между прочим, принадлежит один из двоюродных дядей Толстого, известный под именем «Американца».

Что касается прямой отягченности, то мы можем отметить про некоторых из близких членов семьи Толстого следующие данные.

Дед писателя по отцу—Илья Андреевич—представляет из себя патологический тип. Сам Толстой упоминает о нем, как об ограниченном человеке в умственном отношении. Он был очень веселый человек, но его веселость носила патологический характер.

В имении его, Полянах (не Ясная Поляна) в Белевском уезде, в его доме был вечный праздник. Бесперывные пиршества. балы, кутежи — делались совершенно не по его средствам. Кроме того, его страсть играть в карты, совершенно не умея играть, его страсть к различным спекуляциям, к денежным аферам довели его до полного разорения. Если к этому бестолковому и бессмысленному мотовству прибавить еще то, что он совершенно бессмысленно отдавал деньги всякому, кто просил, то неудивительно, что этот ненормальный человек дошел до того, что богатое имяние его жены было так запутано в долгах и разорено, что его семье нечем было жить, и он принужден был искать себе место на службе государственной, что при его связях ему было легко сделать, — и он сделался Казанским губернатором.

Предполагают, что он окончил самоубийством.

Таков был дед.

Бабушка его также была особа ненормальная и, повидимому, более ненормальная, чем дед.

*) Все здесь приводимые отрывки из истории болезни цитирую из моей работы «К патографии Льва Толстого». Клин. арх. Геннал. и Одарен. Вып. 1. 1925 года.

Дочь слепого князя Горчакова, ее сам Толстой характеризует как очень недалекую особу в умственном отношении. Известно также, что она была очень неуравновешенная и взбалмошная женщина со всякими причудами и самодурствами, мучила своих приближенных слуг, а также родных. Была взяточница.

Страдала галлюцинациями. Однажды она велела отворить дверь в соседнюю комнату, так как она там видит своего сына (тогда уже покойного) и заговаривает с ним (покойным сыном).

Из детей этой четы один сын — Илья Ильич (т. е. младший брат отца)—был горбатый и умер в детстве.

Дочь Александра Ильинишна (сестра отца Толстого). Отличалась мистическим характером, жила в монастыре, держала себя, как юродивая и была очень неряшлива (по словам самого Льва Николаевича). Понятно, что здесь речь идет о патологической неряшливости.

Другая дочь—Пелагея Ильинишна—также, повидимому, умственно отсталая, юродивая, мистически настроенная, с тяжелым неуживчивым характером (например, плохо жила с мужем и часто расходилась). Ее религиозность переходила в ханжество. В конце концов удалась в монастырь, впала в старческое слабоумие (несмотря на религиозность, не хотела при смерти причащаться).

Отец Толстого — Николай Ильич был также человек недалекий. 16 лет заболел, повидимому, какой то нервной или душевной болезнью, так что для своего здоровья был соединен в незаконный брак с дворовой девушкой.

Из всех сыновей его (братьев Льва Николаевича) один был определенно нервно психически-больной, Дмитрий Николаевич. В детстве у него приступы капризности были до того сильны, что мать и няня «мучились» с ним. Позже, взрослым, был очень замкнутым, даже с братьями; задумчивый, склонный к мистическому и религиозному юродству, не обращающий внимания на окружающих людей; имел странные выходки, странные вкусы, следствием чего был объектом насмешек. Был неряшливый и грязный, без натальной рубашки, одетый только на голое тело в пальто и таким образом являлся с визитом к высокопоставленным лицам. Из юродствующего и религиозного вдруг становился развратным (временами). Часто делался импульсивным, вспыльчивым, агрессивным, жестоким и драчливым, дурно обращался с слугой своим, бил его. Страдал смолоду тиком (подергивал головой, как бы освобождаясь от узости галстука)... Умер, как и большинство таких душевно-больных, от чахотки.

Другой брат Толстого — Сергей Николаевич—отличался также эксцентричностью и явно патологическими странностями психики. Так, по словам старшего сына Толстого (Льва Львовича), он был эгоистичный и «несчастный человек», мало разговаривающий и чрезвычайно замкнутый человек, часто месяцами

проводил один, взаперти. «Часто на вес дом раздавалось его оханье и аханье». Держал себя всегда странным образом и оригиналом. Выезжал не иначе, как на четверке.

Он был чрезвычайно горд и к крестьянам относился с презрением.

Сын Льва Толстого—Лев Львович—отмечает в своих воспоминаниях, что он страдал в течение 5 лет какой то «нервной болезнью», так что был освобожден от воинской повинности и оправился, будто бы, от этой болезни, когда женился.

Таким образом о психопатической наследственности Л. Толстого нет никаких сомнений.

Теперь перейдем к вопросу о припадках Льва Толстого. Самое характерное и полное описание припадков мы имеем в дневнике его секретаря В. Ф. Булгакова*). На странице 336 этого дневника мы читаем описание такого припадков. Приводим здесь целиком это место.

«...Писал сегодня Л. Н. статью о социализме, начатую по совету Душана для журнала чешских анархистов. Меня он просил не переписывать ее, а остеречь до приезда Ал. Л-ны, зная, что ей эта лишняя работа будет приятна.

Ездил верхом с Душаном. Вернувшись с прогулки, проходил через «реминтонную».

-- Хорошо съездили, без приключений, — улыбнулся он и забрал с собой со стола полученную на его имя с сегодняшней почтой книгу.

И ни он, ни я никак не предполагали того, что должно было случиться сегодня. Случилось это вечером**).

Л. Н. заспался и, прождав его до 7 часов, сел и обедать без него. Разлив суп, С. А-на встала и еще раз пошла послушать, не встает ли Л. Н. Вернувшись, она сообщила, что в тот момент, как она подошла к двери спальни, она услышала чирканье о коробку зажигаемой спички. Входила ко Л. Н-чу. Он сидел на кровати. Спросил, который час и обедают ли. Но Софье Андреевне почудилось что-то недоброе: глаза Л. Н-ча показались ей странными.

— Глаза бессмысленные... Это перед припадком. Она впадает в забытие... Я уж знаю. У него всегда перед припадком такие глаза бывают.

Она немного поела супу. Потом, шурша платьем, отодвинула стул, поднялась и снова пошла в кабинет.

Дети — Сергей Львович и Татьяна Львовна — недобольно переглянулись: зачем она беспокоит отца?

Но на вернувшейся С. А. лица не было.

— Душан Петрович, подите скорее к нему!.. Он впал в беспамятство, опять лежит и что-то такое бормочет... Бог знает что такое!

*) Дневник В. Ф. Булгакова: «Лев Толстой в последний год его жизни». Изд. Задруга, 1918 г.

***) Здесь и дальше курсив везде наш (Г. С.)

Все вскочили точно под действием электрической искры. Душан, за ним остальные побежали через гостиную и кабинет в спальню.

Там темнота, — Л. Н. лежал в постели. Он шевелил челюстями и издавал странные, негромкие, похожие на мычание, звуки.

Отчаяние и за ним ужас прокрались в эту комнату.

На столике у изголовья зажгли свечу. Сняли со Л. Н-ча сапоги и накрыли его одеялом.

Лежа на спине, сжав пальцы правой руки так, как будто он держал ими перо, Л. Н. слабо стал водить рукой по одеялу. Глаза его были закрыты, брови насуплены, губы шевелились, точно он что-то пережевывал во рту.

Душан всех выслав из комнаты. Только П. И. Бирюков остался там, присев в кресло в противоположном от постели углу. Софья Андреевна, Сергей Львович, я, Татьяна Львовна и Душан подавленные вернулись в столовую и принялись за прерванный обед...

Только что разнесли сладкое, прибежал Павел Иванович.

— Душан Петрович, у Л. Н-ча судороги!

Снова бросились все в спальню. Обед велено было совсем убрать. Когда мы пришли, Л. Н. уже успокоился. Бирюков рассказывал, что ноги больного вдруг начали двигаться. Он подумал, Л. Н-чу хочется почесать ногу, но, подошедши к кровати увидел, что и лицо его перекошено судорогой.

— Бегите вниз, несите бутылки с горячей водой к ногам. Горчичники нужно на икры. Кофею, кофею горячего!

Кто-то отдавал приказания, кажется, Душан и С. А-на вместе. Остальные повиновались и вместе с приказывавшими делали все, что нужно. Сухонький Душан бесшумно, как тень, скользил по всем направлениям комнаты. Лицо С. А. было бледно, брови насуплены, глаза полузакрыты, точно веки опухли... Нельзя было без боли в сердце видеть лицо этой несчастной женщины. Бог знает, что в это время было у нее на душе, но практически она не потерялась; уложила бутылки вокруг ног, сошла вниз и сама приготовила раствор для клистира... На голову больного, после спора с Душаном, наложила компресс...

Л. Н. был, однако, еще не раздет. Потом я, Сергей Львович (или Бирюков) и Душан раздели его; мы с С. Л-чем (или Бирюковым—даже не заметил) поддерживали Л. Н., а Душан заботливо, осторожно, с нежными уговариваниями больного, хотя тот все время находился в бессознательном состоянии, снимал с него платье...

Наконец, его покойно уложили.

— Общество... общество насчет трех... общество насчет трех...

Л. Н. бредил.

— Записать, — попросил он.

Бирюков подал ему карандаш и блок-нот, Л. Н. накрыл блок-нот носовым платком и по платку водил карандашом. Лицо его по-прежнему было мрачно.

— Надо прочитать, — сказал он и несколько раз повторил: разумность... разумность...

Было тяжело, непривычно видеть в этом положении обладателя светлого высокого разума, Льва Николаевича.

— Левочка, перестань, милый, ну, что ты напишешь? Ведь это платок, отдай мне его, — просила больного С. А., пытаясь взять у него из рук блокнот. Но Л. Н., молча, отрицательно мотал головой и продолжал упорно двигать рукой с карандашом по платку...

Потом... Потом начались один за другим страшные припадки судорог, от которых все тело человека, беспомощно лежащее о в постели, билось и трепетало. Выкидывало с силой ноги. С трудом можно было удержать их. Душан обнимал Л. Н. за плечи, я и Бирюков растирали ноги. Всех припадков было пять. Особенной силой отличался четвертый, когда тело Л. Н. перекинулось почти совсем, поперек кровати, голова скатилась с подушки, ноги свесились по другую сторону...

С. А-на кинулась на колени, обняла эти ноги, припала к ним головой и долго была в таком положении, пока мы не уложили, вновь Льва Николаевича как следует на кровати.

Вообще, С. А-на производила страшно жалкое впечатление. Она подняла кверху глаза, торопливо крестилась мелкими крестами и шептала: «Господи! Только бы не на этот раз, только бы не на этот раз!..» И она делала это не перед другими: случайно войдя в ремингтонную, я застал ее за этой молитвой.

Александре Львовне, вызванной мною запиской, она говорила:

— Я больше тебя страдаю: ты теряешь отца, а я теряю мужа, в смерти которого я виновата!..

Александра Львовна внешне казалась спокойной и только говорила, что у нее страшно бьется сердце. Бледные тонкие губы ее были решительно сжаты.

После пятого припадка Л. Н. успокоился, но все таки бредил.

— 4, 60, 37, 38, 39, 70, — считал он.

Поздно вечером пришел он в сознание.

— Как вы сюда попали? — обратился он к Душану и удивился, что он болен.

— Ставили клистир? Ничего не помню. Теперь я постараюсь заснуть.

Через некоторое время С. А. вошла в спальню, стала что-то искать на столике около кровати и нечаянно уронила стакан.

— Кто это? — спросил Л. Н.

— Это я, Левочка.

— Ты откуда здесь?

— Пришла тебя навестить.

— А...!

Он успокоился. Видимо, он продолжал находиться в сознании.

Болезнь Л. Н-ча произвела на меня сильное впечатление. Куда бы я в этот вечер не пошел, везде передо мною, в моем воображении, вставало это страшное, мертвенно-бледное, насупившееся и с каким то упрямым, решительным выражением лицо. Стоя у постели Л. Н-ча, я боялся сметреть на это лицо; слишком выразительны были его черты, смысл же этого выражения был ясен, и мысль о нем резала сердце. Когда я не смотрел на лицо и видел только тело, жалкое, умирающее, мне не было страшно, даже когда оно билось в конвульсиях; передо мной было только животное. Если же я глядел на лицо, мне становилось невыносимо страшно: на нем отпечатлевалась тайна, тайна великого действия, великой борьбы, когда, по народному выражению, «душа с телом расстается».

Видно, мала еще моя вера, если я боялся этого!

Поздно ночью приехал из Тулы доктор (Щеглов). Но он уже не видал Л. Н-ча. Душан объяснил ему болезнь, как отравление мозга желудочным соком. На вопрос наш о причине судорог приезжий доктор отвечал, что они могли быть обусловлены нервным состоянием, в котором находился Л. Н. в последнее время в связи с наличием у него артериосклероза.

Итак, из всех этих данных видно, что Лев Толстой был подвержен судорожным припадкам. Эти припадки сопровождаются, во-первых, полной потерей сознания, во-вторых, судорогами, начинающимися сначала в отдельных частях тела, а затем переходят в общие судороги всего тела.

Судорога начинается так: «он шевелил челюстями и издавал странные, негромкие, похожие на мычание звуки».

«Губы шевелились, точно он что-то пережевывал во рту»...

«Лежа на спине, сжав пальцы правой руки так, как будто он держал ими перо, Л. Н. слабо стал водить рукой по одеялу». Затем судорога переходит на нижние конечности: — Бирюков рассказывал, что ноги больного вдруг начали двигаться, он подумал, что Л. Н-чу хочется почесать ногу, но, подошедши к кровати, увидел, что и лицо его перекошено судорогой. «Потом... Потом начались один за другим страшные припадки судорог, от которых все тело человека, беспомощно лежавшего в постели,

билось и трепетало, выкидывало с силой ноги. С трудом можно было удержать их»...

Это описание припадка настолько характерно описано (не врачом), классические картины эпилептических судорог настолько ясны, что тут никакого сомнения быть не может в их достоверности.

Также мы видим, что после припадка у больного полная амнезия всего происшедшего, ибо после припадков, поздно вечером, когда Л. Толстой пришел в себя, он удивился Душану, который все время находился у постели больного. — «Как Вы сюда попали?» — обратился он к Дунашу и удивился, что он болен.

— «Ставили клистир? — Ничего не помню»...

Точно также 4-го утром, проснувшись в полном сознании, когда Бирюков рассказал ему содержание бреда, — он доволен был его содержанием.

Об этих амнезиях после припадков отмечает также и сын его, Илья Львович, в своих воспоминаниях о своем отце *). На странице 228 мы читаем:

«...Несколько раз с^нним делались какие то необъяснимые внезапные обмороки, после которых он на другой день оправлялся, но временно совершенно терял память**)

Видя в зале детей брата Андрея, пишет он, которые в это время жили в Ясной, он удивленно спрашивал: «Чьи это дети?»—Встретив мою жену, он сказал ей: «ты не обидься, я знаю, что я тебя очень люблю, но кто ты,— я забыл», и, наконец, взойдя раз после такого обморока в залу, он удивленно оглянулся и спросил: «а где же брат Мишенька» (умерший 50 лет тому назад?)

На другой день следы болезни исчезали совершенно».

Итак, мы с достоверностью можем на основании этого сказать, что Лев Толстой страдал эпилептическими припадками с потерей сознания, с эпилептическими судорогами, с бредом во время припадков и с последующей полной амнезией всего происшедшего.

Теперь спрашивается: быть может, этот описываемый *припадок был единичный случай* в жизни Толстого, и что из этого нельзя заключить, что он был вообще подвержен припадкам. Чтоб осветить этот вопрос, мы также имеем целый ряд данных, говорящих против того предположения, что этот припадок был единичный.

Помимо свидетельства такого авторитетного психиатра, как Ломброзо, говорившего об этом еще чуть-ли не 40 лет тому назад, мы имеем целый ряд свидетельств близких Льву Толстому лиц, из которых ясно видим, что припадкам он был подвержен, как свойственной ему привычной болезни, к которой близкие настолько привыкли и изучили эту болезнь, что даже по продромальным

*) Илья Львович Толстой. «Мои воспоминания». Берлин, изд. Ладьяникова,

***) Курсив здесь и дальше наш (Г. С.).

симптомам узнавали раньше, когда будет припадок. Так, например, в том же описанном выше секретарем Толстого припадке мы читаем:

— «...Входила (речь идет с Софье Андреевне) ко Льву Николаевичу. Он сидел на кровати. Спросил который час и обедают ли. Но Софье Андреевне почудилось что-то недоброе: глаза Л. Н. показались ей странными.

— Глаза бессмысленные... Это перед припадком. Он впадает в забытие... Я уже знаю. У него *всегда**) перед припадком такие глаза бывают»...

Из этого явно следует, что его жена, Софья Андреевна, настолько изучила его припадки, что знает, что такие глаза бывают *«всегда»* перед припадком. Значит, припадков таких она видела достаточно настолько, что она, не будучи медиком, но наблюдательным человеком, как всякий, в ее положении, узнает те привычные ей и знакомые симптомы, предшествующие припадку, картина которых ей представляется, как нечто хорошо знакомое.

О том, что припадки бывали с ним нередко и раньше, явствует также из целого ряда других литературных документов. Так, если мы возьмем воспоминания его дочери А. Толстой («Об уходе и смерти Л. Н. Толстого»), то у ней мы находим такое место (стр. 156):

«Когда он (т. е. Л. Толстой) заговорил, я поняла, что у него начинается обморочное состояние, *которое бывало и прежде***). В такие минуты он терял память, *заговаривался*, произнося какие то непонятные слова»... И дальше на этой же 156 странице: ...«Мы поняли, что положение очень серьезно, и что, *как это бывало и прежде, он мог каждую минуту впасть в беспамятство*. Душан Петрович, В. М. и я стали понемногу раздевать его, не спрашивая его более, и почти перенесли в кровать.

Я села возле него, и не прошло и пятнадцати минут, как я заметила, что левая рука его и левая нога стали судорожно дергаться. То же самое появлялось временами, и в левой половине лица...»

...Мы попросили начальника станции послать за станционным доктором, который бы мог в случае нужды помочь Душану Петровичу. Дали отцу крепкого вина, стали ставить клизму. Он ничего не говорил, но стонал, лицо было бледно, и судороги, хотя и слабые, продолжались.

Часам к девяти стало лучше. Отец тихо стонал. Дыхание было ровное, спокойное...»

Из этого описания другой о припадке, в другом месте дочерью Льва Толстого мы видим, что припадок сопровождается также судорогами и потерей сознания, что припадку предшествуют

*) Курсив наш (Г. С.).

***) Курсив здесь, а также и дальше наш. (Г. С.).

признаки, по которым близкие заранее узнают, что будет припадок: «в такие минуты (т. е. до припадка) он заговаривался, произнося какие-то непонятные слова».

На основании этого дочь его, А. Толстая, «поняла», что начинается то состояние, «которое бывало и прежде»: «он мог впасть в беспамятство».

Мы можем из этого заключить, что припадкам этим он был подвержен, как ему нечто настолько свойственному, что по симптомам предвестников узнают наступающий припадок. Будь этот описываемый припадок, как единичный случай, или как нечто редкое, вызываемое исключительным состоянием, то дочь его и близкие не могли бы этими предшествовавшими признаками руководиться, что будет припадок.

Насколько резко и характерно было это состояние перед припадком для родных и близких, видно из следующего описания.

Гольденвейзер на стр. 318 в своем дневнике*) (цитируя записки А. П. Сергеевко), описывает состояние здоровья Л. Н., когда он был подвержен целому ряду припадков в связи с неприятными переживаниями, таким образом:

«...Душан Петрович рассказывал, что 14-го, в тот день, когда Софья Андреевна написала Л. Н. свое письмо, он ожидал, что у Л. Н. будет вечером опять припадок. Л. Н. с утра был слабый, голос у него был вялый и, когда он говорил, губы у него слабо двигались, рот едва открывался. Все это, особенно то, что слабо двигались губы, было для Душана Петровича нехорошим признаком.

Но несмотря на свою слабость, Л. Н. все таки решил после завтрака поехать на прогулку. Душан Петрович попробовал было его отговорить, предлагая ему поехать в экипаже, но Л. Н. сказал, что поедет верхом потихонечку, и что он чувствует, ему будет лучше от прогулки. Душан Петрович не мог больше отговаривать Л. Н., и они поехали. Отехали они шагом. Л. Н. ехал впереди, Душан Петрович тревожился за него: он был слишком слаб. Но, проехав шагом некоторое расстояние, Л. Н. припустил лошадь, а затем остановил ее и подзвал к себе Душана Петровича. Душан Петрович не поверил глазам своим, — это был совсем другой Лев Николаевич, чем 1/2 часа тому назад, — лицо ожиренное, свежее, голос громкий, и губы, по словам Душана Петровича, совершенно «жизненные».

Самое характерное, что бросается в глаза, это то, что эти припадки появляются всегда после какого-либо эффективного переживания Льва Николаевича. — Будь это семейная сцена или неприятность другого характера, потрясающая его легкоранимую эмотивную сферу (как мы это видим после), он всегда в конце концов реагировал на это аффективное переживание

*) А. Б. Гольденвейзер. «Вблизи Толстого». Том II. Москва 1923.

припадком. Так, описываемые выше припадки с конвульсиями из дневника секретаря Л. Толстого Булиакова относятся к тому тяжелому периоду переживаний, когда у него конфликт с Софьей Андреевной дошел до высшей точки, так что он решился на бегство. Непосредственно эти припадки были вызваны тяжелыми объяснениями по поводу ссоры его дочери с матерью. Эти припадки были чрезвычайно тяжелого характера.

О том, что припадкам всегда предшествовали аффективные переживания неприятного характера, также видно из следующей о письме Черткова к Досеву от 19 октября 1910 года (стр. 326 Гольденвейзер «Вблизи Толстой» т. II изд. 1923 года), где Чертков, говоря относительно только-что пережитых припадков 5-го октября 1910 года, вспоминая прежние аналогичные припадочные состояния, пишет таким образом:

«В июле 1908 года Л. Н. переживал один из тех вызванных Софьей Андреевной мучительных душевных кризисов, которые у него всегда оканчиваются серьезной болезнью. Так было и в этот раз*); он тотчас после этого заболел и некоторое время находился почти при смерти».

Тут уже определенно свидетельствуется Чертковым, что почти все душевные кризисы, или вернее, все тяжелые переживания аффективного характера оканчиваются «серьезной болезнью», т. е. припадком.—«Так было и в этот раз» (т. е. в этот раз, когда были припадки), они зависели от душевных волнений. Это ценное наблюдение Черткова действительно подтверждается; всюду, где только в жизни Толстого отмечается припадок, ему всегда предшествует аффективное волнение. В периоды, же когда Л. Н. не имел этих волнений, у него припадков не бывает.

Таким образом, в аффективном характере этих припадков нет никаких сомнений, и диагностировать у него аффективную эпилепсию мы имеем полное право, тем более, что весь его психический склад и целый ряд симптомов, течение этой болезни, как это мы увидим, все говорит в пользу такой диагностики.

Так, отмеченные Крепэлином и Bratz'ом симптомы: обмороки, головокружения, приступы Petit mal, состояния спутанности, патологические изменения настроения, как симптомы, характерные для этой именно формы эпилепсии, — мы также находим у Льва Толстого.

Мы находим, например, у Льва Толстого симптомы такого головокружения, во время приступа которого он мог терять равновесие и падать на землю, что ясно следует из следующих отрывков другого литературного документа. Так, в «Записках Маковецкого» (Голос минувшего — 1923 г. № 3) мы читаем следующую запись:

«17 октября 1905 г.

Сегодня утром Л. Н. после того, как вынес ведро и возвращался к себе, упал в первой кухонной двери, ведро высоко-

чило у него из рук. Его увидал лакей Ваня, когда он уже поднимался. Сам встал, взял ведро, пришел к себе и прилег на диван. Был очень бледен. Пульс слабый, губы бледные, уши прозрачные. Когда поднял голову и хотел сесть, почувствовал головокружение. Потом голове стало легче. Полежал спокойно около часа и начал было заниматься, но потом опять прилег и подремал от 10 до 12 и ст 1 до 6-ти. *Вечером говорил, что это с ним уже бывало**).

— «Помню, с Гротом шел по Пречистенке, шатался. Пошатнулся, прислонился к стене и постоял. Теперь уже 4 дня шатало меня, только не сильно.

Под вечер пульс был слабый — 76, перебоев не было. Утром не выходил».

Из этого обрывка видно, что припадки такого головокружения, во время которых он падал, теряя равновесие, бывали и раньше, и что описываемое падение с ведром — не случайное падение, что также явствует из описания того состояния, которое последовало после припадка.

Точно также Лев Николаевич Толстой был подвержен обморокам.

Как пример, иллюстрирующий эти обмороки, приводим следующий отрывок от 4 августа (Дневника Гольденвейзера на стр. 203):

«...Софья Андреевна стала читать Л. Н. в столовой все ту же страничку из дневника со своими комментариями**). Среди чтения Л. Н. встал и прямой, быстрой походкой, заложив руки за ремешек и со словами: «Какая гадость, какавя грязь» прошел через площадку в маленькую дверь к себе. Софья Андреевна за ним. Л. Н. запер дверь на ключ. Она бросилась с другой стороны, но он и ту дверь — на ключ. Она бросилась с другой стороны, он он и ту дверь успел запереть. Она прошла на балкон и через сетчатую дверь стала говорить ему: — «Прости меня, Левочка, я сумасшедшая». Л. Н. ни слова не ответил, а немного погодя, страшно бледный прибежал к Александре Львовне и *упал в кресло ***)*; Александра Львовна взяла его пульс — больше ста и сильные перебои».

Выше, при описании в своем дневнике секретарем Толстого Булгаковым припадка, нам также бросилось в глаза изменение психики перед припадком. Прежде всего мы видим затемнение сознания с состоянием *спутанности*.

Так, в этом дневнике отмечается так:

*) Курсив наш (Г. С.)

***) Речь идет о том месте дневника Л. Н., где он будто, по утверждению Софьи Андреевны, упоминает о своей физической связи с Чертковым, что вызывало у Л. Н. всегда негодование.

***) Курсив наш (Г. С.)

«Наконец, его спокойно уложили.

— Общество... общество на счет трех... общество насчет трех....

Л. Н. бредил.

Записать,—попросил он.

— Бирюков подал ему карандаш и блок-нот.

Л. Н. накрыл блок-нот носовым платком и по платку водил карандашом. Лицо его было мрачно.

— Надо прочитать, — сказал он и несколько раз повторил: разумность... разумность... разумность... Было тяжело, непривычно видеть в этом положении обладателя светлого, высокого разума, Льва Николаевича.

— Левочка, перестань, милый, ну что ты напишешь? Ведь это платок, отдай мне его, — просила больного С. А., пытаясь взять у него из рук блок-нот. Но Л. Н. молча отрицательно мотал головой и продолжал упорно двигать рукой с карандашом по платку...

Аналогичное состояние перед припадком при другом случае, упомянутом выше, описывает и его дочь, А-ра Л.:

«В такие минуты он терял память (говорит она), заговаривался; произнося какие то непонятные слова. Ему, очевидно, казалось, что он дома, и он был удивлен, что все было не в порядке, не так, как он привык.

— Я не могу еще лечь, — сделайте так, как всегда. Поставьте ночной столик у постели, стул. Когда это было сделано, он стал просить, чтобы на столике была поставлена свеча, спички, записная книжка, фонарик и все, как бывало дома.

Когда сделали и это, мы снова стали просить его лечь, но он все отказывался...

Из этих отрывков, описывающих психическое состояние Льва Толстого перед припадком, мы определенно видим, что его психика была настолько помрачена, что мы можем это состояние его психики обозначить, как то сумеречное состояние, которое бывает перед припадком у аффект-эпилептиков. Повидимому, при этих состояниях он галлюцинировал, принимая, например, чужую обстановку в дороге (описанное дочерью Александрой Львовной выше состояние перед припадком случилось в дороге) принимает за обстановку домашнюю, ибо, как она пишет: «он был удивлен, что все было не в порядке, не так, как он привык».

Он требовал, чтоб был поставлен ночной столик, свеча и т. д.

А что у Л. Толстого бывали галлюцинации вообще, свидетельствует также Гольденвейзер.

В его дневнике на стр. 382 есть такая заметка, довольно определенно на это указывающая:

«В дневнике Л. Н. есть запись, указывающая, что *ему послышался как бы какой то голос**), назвавший не помню какое число, кажется, марта.

Л. Н. казалось, что он должен в это число умереть, — на это есть несколько указаний в его дневнике».

Конечно, из этого свидетельства Гольденвейзера мы не можем в достаточной степени заключить, когда и при каких обстоятельствах послышался этот голос Л. Толстому; было ли это перед или во время припадка, было ли это во время каких-либо других состояний, ничего из этого заключить нельзя. Но одно несомненно, что Л. Толстой в тех или иных случаях галлюцинациям был подвержен. На это также указывает и Ломброзо.

Отмеченную Крепелином раздражительность и аффективность характера, свойственную аффект-эпилептикам, — мы также можем констатировать у Л. Толстого.

Эту сторону его психики хорошо характеризует сын его Лев Львович. Из нижеприводимых нами целого ряда отрывков воспоминаний Льва Львовича мы можем довольно определенно представить себе картину этой аффективно-раздражительной психики Льва Толстого.

«...Если он хорошо работал, все весь день шло хорошо, все в семье были веселы и счастливы, — если нет, то темное облако покрывало нашу жизнь».

«...Я вспоминаю, что каждый вечер управляющий приходил к нему разговаривать с ним о делах, и часто мой отец *так сердился**), что бедный управляющий не знал, что сказать, и уходил, покачивая головой».

(Воспоминания Л. Л. Толстого «Правда о моем отце» — Ленинград. 1924 г.).

Почти каждый год приезжал Фет в Ясную. Отец был рад его видеть. Фет говорил мало и даже как-то трудно. Иногда, прежде, чем произнести слово, он долго мычал, что было забавно для нас, детей, но мой отец слушал его с живым интересом, *хотя редко, даже почти никогда не обходилось без ссоры между ними*». (Там же стр. 30).

«...Однажды отец в порыве ярости кричал на него (воспитателя, швейцарца):

«Я вас выброшу из окна, если вы будете вести себя подобным образом».

«...Отец любил сам давать уроки математики...

Он задавал нам задачи, *и горе нам, если мы их не понимали. Тогда он сердился, кричал на нас. Его крик сбивал нас с толку, и мы уже больше ничего не понимали*». (Там же стр. 48).

*) Курсив наш (Г. С.).

***) Курсив здесь и дальше наш (Г. С.).

«...Иногда таким исключением была болезнь детей, недоразумения с прислугой, или ссоры между родителями, *«всегда бы ш е мне неприятными.»*

«...Я вспоминаю довольно серьезную ссору между отцом и матерью. Я тогда примирил их. Что же было причиной ссоры? Я не знаю, быть может, отец был не доволен чем нибудь, что сказала мать, быть может, просто рассердился он на нее, чтоб дать выход своему плохому настроению. Он был очень сердит и кричал своим громким неприятным голосом. Еще ребенком питал я отвращение к этому голосу. Мать, плача, защищалась.» (Там же стр. 49).

...«Я не любил его, когда он ссорился с мамой». (Там же стр. 86).

...«Серьезный, всегда задумчивый, сердитый всегда, и ищущий новых мыслей и определений — так он жил между нами, уединенный со своей громадной работой».

(Описание времени кризиса. Там же стр. 97).

...«С детства привык к уважению и страху перед ним». (Стр. 105).

Из этих отзывов сына о своем отце мы определенно видим аффективный характер отца, так что «с детства привык к страху перед ним», ибо «серьезный, всегда задумчивый, сердитый всегда» отец часто ссорился. Ссорился со своей женой, ссорился с друзьями, с прислугой и даже на детей своих он «сердился, кричал» настолько, что «горе нам, если мы их (т. е. заданных им задач) не понимали».

Эта аффективная и вспыльчивая психика преобладала над Толстым, особенно в ту эпоху его жизни, когда его религиозно-мистические идеи и настроения еще не охватили его. Как известно, этот перелом в его психике начался в начале 70-х годов и к 80-м годам закончился. Перелом этот также не произошел случайно, а является логическим следствием структуры аффект-эпилептической психики *).

Крепелин считает симптомом, свойственным аффективной эпилепсии, также приступы патологического страха смерти. Этот симптом мы имеем также у Льва Толстого.

О том, что он страдал от этих тяжелых приступов страха мы увидим сейчас.

Отметим сейчас один из наиболее ярких приступов, с которого, повидимому, и начался последующий ряд таких приступов.

В 1869 году, при поездке в Пензенскую губернию для выгодной покупки нового имения, Лев Толстой останавливается в Арзамасе и там переживает приступ *болезненного страха смерти*, беспричинной тоски.

*) Об этом см. мою работу: „К панографии Льва Толстого“ Кн. Арх. Ген. и Одар. вып. I. 1925 г.

Он так описывает это переживание в письме к Софье Андреевне от сентября 69 года:

— «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мною было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи: я устал, страшно хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня напала тоска, страх и ужас, такие, каких я никогда не испытывал».

Сын его Сергей Львович, в своих воспоминаниях («Голос Минувшего» 1919 г. кн. № 1—4) также описывает этот приступ:

— В одиночестве, в грязном номере гостиницы, он в первый раз испытал приступ неотразимой, беспричинной тоски, страха смерти: *такие минуты затем повторялись*, он их называл «*Арзамасской тоской*».

(Это переживание он описывает в «Записках сумасшедшей»).

В Толстовском ежегоднике за 1913 год С. А. Толстая в ею напечатанном отрывке «Из записок Софьи Андреевны Толстой» под заглавием «Моя жизнь» сна, описывая 4-е паломничество Л. Н. в монастырь «Оптиня Пустынь» (в 1877, 1881, 1889, 1910 г.г.) замечает: «сколько напрасных тяжелых ожиданий смерти и мрачных мыслей о ней пережил Л. Н. во всей своей долголетней жизни. Трудно перенестись в это чувство вечного страха смерти»...

Да, эти приступы страха перевернули все существо Л. Н.-ча. Вся его мистика, вся его добродетельность, резиньяция жизни, отказ от барства и пр., вся его мораль и проповедь объясняется нам благодаря этим и другим психопатическим переживаниям.

Отметим также еще особенность в психике Толстого, которая также дополняет картину аффект-эпилепсии.

Это — чрезвычайная сенситивность и эмотивность.

Как известно, Л. Толстой реагировал чрезвычайно сенситивно на всякую несправедливость, на всякое зло. Этой сенситивностью и чрезвычайно повышенной чувствительностью объясняется и чрезвычайно легкая слезливость Л. Толстого.

Л. Н. легко был склонен к слезам при всякого рода эмоциональных переживаниях. Это подтверждается данными наблюдений Гольденвейзера, у которого в дневнике мы читаем (стр. 376):

— «Плакал Лев Николаевич легко, больше не от горя, а когда рассказывал, слышал или читал чтонибудь трававшее его. Часто плакал, слушая музыку».

Вообще в дневнике его часто отмечается факт, что Л. Н. плачет по поводу того или иного переживания (неприятного или приятного характера).

«Я хотел продолжать разговор, пишет он, но к горлу что-то приступило. *Я очень был слаб на слезы*. Не мог больше говорить, протиснулся с ним и с радостным умиленным чувством, глотая слезы, пошел»...

«От радости или от болезни, или от того и другого вместе я стал слаб на слезы умиления, радости. Простые слова этого милого, твердого, сильного человека, такого, очевидно, готового на все доброе и такого одинокого, так тронули меня (речь идет о случайной встрече с крестьянином), что рыдания подступили мне к горлу, и я отошел от него, не в силах выговорить ни слова».

Эта резкая склонность к слезам (сенситивность, «чувствительность») замечается еще с детства. Его за это в детстве прозвали «Лева — рева», «Тонкокожий».

Яркие примеры этой чувствительности он приводит в своем очерке «Записки сумасшедшего». Эту черту (повидимому, унаследованную от матери) он сам неоднократно отмечает в своих письмах и произведениях.

После его психического перелома эта слезливость резко увеличилась, а под старость — тем более.

Сам Лев Николаевич сознает связь этой слезливости, когда он говорил: «От радости или от болезни, или от того и другого вместе я стал слаб на слезы»...

Несомненно, что эта повышенная эмотивность, слезливость, резиньяция жизни, и прочее — есть часть симптомокомплекса аффект-эпилептической психики. Если в первый период жизни Толстого до «Арзамасского страха» проявлялся и доминировал вспыльчиво-аффективный полюс аффект-эпилептической психики, то во второй период, после перелома, доминировал другой полюс — аффективно-сенситивный. Как тот и другой в сильных приступах эмотивности реагировал припадками.

Между прочим, сам Лев Толстой довольно хорошо охарактеризовал свою аффективно-раздражительную натуру с ее переходами в сенситивную слезливость в одном полушуточном произведении под названием: «Скорбный лист душевно-больных ясно-полянского госпиталя*»), где он дает «историю болезни» всех обитателей Ясной Поляны, в шутливой форме. Надо сказать, что под этой шуткой дается меткая характеристика.

Характеристикой своей личности начинается этот «скорбный лист» и таким образом:

«№ 1. (Лев Николаевич). Сангвинического зейства, принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами «weltverbesserungs wahn». Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словами. Признаки общие: недовольство всем существующим порядком, осуждения всех, кроме себя, и *раздражительная многогоречивость*, без обращения внимания на слушателей, *частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности**).*

*) Илья Львович Толстой, «Моя воспоминания» стр. 97 изд. Ладьянникова. Берлин.

***) Курсив наш. (Г. С.)

Резюмируя все вышеизложенное, мы приходим к следующему заключению.

Лев Николаевич Толстой страдал эпилептическими припадками, сопровождавшимися судорогами, полными или неполными, с потерей сознания и с последующей амнезией, припадку предшествовали предвестники.

Эти припадки мы диагностируем, как припадки аффективной эпилепсии, на следующих основаниях:

1. Эти припадки развились у Толстого на основе психопатической предрасположенности.

2. Припадки у Толстого всегда следовали после *каких либо аффективных переживаний*.

3. Эти припадки *не вызвали* у Льва Толстого обычного эпилептического изменения психики (в смысле слабоумия): наоборот, несмотря на глубокую старость, его психические функции стояли до конца его последних дней на свойственной ему высоте.

Помимо этого мы можем констатировать, что:

4. Лев Толстой страдал приступами патологического страха смерти.

5. Обморочными припадками и мигренью.

6. Приступами головокружения с потерей равновесия.

7. Галлюцинациями во время припадков.

8. По своему характеру Лев Толстой был одержим аффективностью и раздражительностью с одной стороны, чрезвычайной сенситивностью и слезливостью с другой стороны.

9. Помимо того он был подвержен патологическим изменениям настроения.

10. Вся эта картина аффективной эпилепсии, со всеми главными и второстепенными симптомами, развилась на почве эпилептической конституции.

Байрон.

Род Байронов изобилует душевно нервными больными. Со стороны отца: прадед был импульсивный и ненормальный человек; брат деда отличался таким же сумасбродным и ненормальным характером. Он бил свою жену, тиранил своих слуг, а на своих крестьян нагонял прямо таки ужас; он им казался воплощением тьмы. В минуты успокоения он впадал в другую крайность и целыми часами забавлялся, как дитя, игрушками. Для него делали маленькие кораблики с миниатюрными пушками, и он спускал их на свой пруд, играя в морские сражения. Бабушка поэта была психически больная женщина и мучила всех окружающих. Отец был крайне развратный человек. Сам Байрон — поэт считал его помешанным. По материнской линии: дед со стороны матери — душевно-больной, окончил самоубийством (повесился). Мать Байрона была также ненормальная. Поэт нередко называл ее фурией — «моя милая Алекта»

(имя одной из греческих фурий), — так писал про нее 18 летний Байрон, — «начинает чувствовать последствия своего безумия. Говорю серьезно, я очень обязан вашей матери (письмо это было адресовано Байроном одному из своих друзей) и всей вашей семье в том числе и Вам, что Вы помогли мне укрыться от мистрисс Байрон — furiosa»... Мистрисс Байрон умерла от одного из припадков бешенства. Виновник этого последнего припадку был обоим, представивший мистрисс Байрон черезчур внушительный счет. Кузина Байрона — Мэри Чеворт — также душевно-больная. Дочь Байрона — Аллегра, повидимому, также была ненормальная. Биограф говорит про нее: «она удивляла мечтательностью и своими радостно-мистическими снами на яву».

От рождения у Байрона одна нога была короче другой, отчего поэт остался на всю жизнь хромым. С раннего детства в Байроне обнаружилась крайняя нервность и вспыльчивость, доходившая до крайнего возбуждения гнева и бешенства по поводу самых ничтожных причин. Во время таких приступов аффективности, он часто рвал на себе одежду, однажды, во время такого приступа у него вырвали нож из руки. Иногда эти приступы кончались обмороками или эпилептическим припадком.

Всякое сильное волнение вызывало у Байрона обморок или эпилептический припадок. Когда в первый раз его вызвали по имени в школе в Кембриджском университете, то от волнения он не мог произнести ни слова и упал в обморок. Точно также эпилептические припадки у него были после сильных волнений и аффектов. Первый судорожный припадок был у него 16 лет. Затем известен припадок в театре во время представления пьесы Альфиери «Mirra». Припадки у него также участились во время его греческих походов при его неудачах в походе.

Приступы или обострения эпилептических (или эпилептоподобных) припадков вызывались нравственными потрясениями или неприятностями. Так, например, когда был решен и объявлен поход одной части отряда в Лепанто для взятия этой крепости (во время его участия в греческом восстании), телохранители Байрона и надежнейшие его воины сулиоты отказались идти против каменных стен — на Байрона это обстоятельство так повлияло, что вызвало у него сильнейший припадок, по признакам похожий на эпилепсию. Этот припадок, по его словам, был сильнейшим во всю его жизнь.

Это было в 1824 году (36 лет от роду) незадолго до смерти. Байрон по своему характеру принадлежал к типичным аффективным эпилептикам. За этот аффективный характер считался современниками, даже врачами «сумасшедшим и опасным для окружающих». Отмечаются у него резкие переходы от аффекта, вспышки гнева, к угнетению и «ипохондрии». Вообще, резкая смена характера делала его невозможным в общежитии человеком. Скандалы, авантюры, любовные похождения, разврат, азартная игра, алкоголизм, наркотизм — все это заполняло буйную жизнь поэта.

По словам Ломброзо, Байрон был подвержен также галлюцинациям.

На основании этих данных мы можем заключить, что Байрон был одержим аффективной эпилепсией, ибо припадки у него всегда были связаны с переживаниями неприятного характера — с того или иного вида аффективностью. Все другие симптомы также говорят за это.

Флобер.

О наследственности Флобера нам известны следующие данные. Отец был одержим аффективно-вспыльчивым характером. Из-за этой же вспыльчивости между Флобером и его отцом происходили частые ссоры и расхождения. Мать была подвержена галлюцинациям вследствие каких-то приступов нервно-психической болезни. Также старший брат—Ахилл—болел какой-то психической болезнью. Когда Флобер посетил 11 1877 г. дом своих родителей, то он нашел своего брата в таком состоянии: «мой брат (говорит Флобер) ничего не говорит, он впал в тяжелую меланхолию вследствие тяжелого нервного расстройства. Словом, он, по моему мнению, тяжело заболел». Вообще род Флоберов отличается психопатической отягченностью. С детства сам Флобер — писатель страдал эпилептическими припадками. Первый припадок с ним случился в 1843 году во время поездки с своим братом Ахиллом. Уже с детства он был подвержен всевозможным фобиям; например, боязнь темноты и пр. Также с детства он онанист. Подвержен был также галлюцинациям, о чем свидетельствовал сам Флобер. Приступы иступления и патологического аффекта были настолько сильны у Флобера, что он в эти моменты делался агрессивным. Часто такой приступ переходил в форменный эпилептический припадок. Такая аффективность у него вызывалась пустяшной причиной. Помимо всего Флобер, будто, страдал приступами «астмы», «ревматизма» и приступами рвоты.

О том, какими тяжелыми эпилептическими припадками, часто повторявшимися, страдал Флобер, дает наглядное описание его друг Maxim du Camp, в своем литературном воспоминании. Из этого описания ясно видны отдельные симптомы, характерные для этих припадков: судорожные явления, расстройство сознания и обманы чувств. Maxim du Camp пишет в своих воспоминаниях следующее:

«Еще до того, как ему минуло 22 года от роду, Густав заболел тяжелым недугом, который в известном смысле приковывал его к неподвижности. Эта же болезнь обуславливала в нем те странности, которые часто приводили его поверхностно знакомых в неожиданное удивление.

Morbus Sacre est тот большой невроз, та паучья болезнь, которая схватывала его и повергала в падение. Часто я в своем бессилии и растерянности принужден был присутствовать при этих ужасных припадках. Они всегда наступали одинаково

и протекали с одинаковыми сопровождающимися явлениями. Густав внезапно без всякой причины поднимал голову и делался совершенно бледным; он чувствовал ауру... его взгляд был полон страха... он говорит: в левом глазу у него пламя... Несколько секунд после у него пламя уже в правом глазу: все блестит ему, как золото. Это своеобразное состояние иногда длилось несколько минут. Затем его лицо делалось еще бледнее и получало выражение отчаяния; быстро он идет и бросается в свою кровать и ложится, почерневший и печальный, как будто он живой ложится в гроб. Затем он кричит: «Я держу возжи... Здесь извозчик... Я слышу колокольчик!.. О, я вижу фонарь от гостиницы!..», а затем он издает такой душу раздирающий крик, что остается долю в моих ушах, и начинаются судороги. После этого пароксизма судорог, которые охватывали все его тело, всегда следовал, глубокий сон и несколько дней разбитости».

Из этого отрывка мы видим характерное описание эпилептического припадка, которому предшествуют предвестники наступающего припадка, затем характерное вскрикивание перед припадком, судороги всего тела, после этого—глубокий сон и несколько дней разбитости.

Сам Флобер в другом месте списывал свои субъективные переживания до и во время припадков, таким образом: «Meine Nervenfälle, die nichts sind als unfreiwillige schiefe Ebenen von Ideen und Bildern, das psychische Element springt dann über mich hinaus, und die Bewusstheit verschwindet mit dem Gefühl des Lebens».

Из этого отрывка видно, что при припадках он теряет сознание. В другом месте он говорит;

«Моя нервная болезнь war ein Abschaum dieser intellektuellen Pössen. Каждый припадок представляет как бы в некотором роде «непроизвольные излияния семени художественных способностей» его мозга; сотни тысяч образов вспыхивают при этом сразу подобно фейерверку. Es war eine Verknottung der Seele und des trotz gen Leibes (ich habe die Überzeugung, das ich mehrere Male gestorben bin)».

Характерно отметить аффективный характер Флобера и вместе с этой аффективностью связанные припадки. В этих припадках и во всей сущности комплекс эпилептических элементов как бы перелутан с комплексом истерическим, т.е. представляет именно ту картину болезни, которую Крепелин и Bratz выделили, как особую форму эпилепсии под именем аффект-эпилепсии.

Достоевский.

Весь род Достоевских по отцу представляет из себя ярко выраженную психопатическую семью. Так, уже в отношениях отца Достоевского к деду Достоевского видно, что мы имеем в лице этого деда определенно ненормальную личность. Из биографических данных нам известно,

что 15 лет от роду отец Михаил Андреевич находится в смертельной вражде с дедом, так что покидает родительский дом навсегда и с таким озлоблением, *что даже говорить об отце ему неприятно* и в течение 35 лет не любил даже вспоминать о нем. Достоевский — отец страдал запойным пьянством и был чрезвычайно жестокий, угрюмый, подозрительный, болезненно-недоверчивый человек. Дети его страшно боялись, дрожали перед ним и опасались, как бы малейшею ребяческою шалостью не вызвать у него вспышку гнева и суровости. Все эти патологические свойства характера отца естественно вызывали озлобление у детей, которые не любили отца, а боялись его. О характере отца можно судить по тому, что крепостные крестьяне его же имени убили его за жестокость, задушив его подушкой во время езды в экипаже.

Несомненно, отец — Достоевский был психически больной человек; болезнь его прогрессировала вместе с его запойным пьянством. Результатом этого и было то, что почти все его дети и потомки, включая великого писателя, были людьми психопатического склада, как это мы увидим дальше.

В характере матери Достоевского ничего патологического не имеется. Многочисленные роды истощили ее слабый организм. Умерла она, повидимому, от чахотки.

Михаил — старший брат Достоевского и младший брат его — Николай унаследовали болезнь отца, страдали запойным пьянством. Последний всю жизнь был в тягость Достоевским. Варвара, сестра Достоевского, была несомненно душевнобольная. Она после замужества сделалась богатым человеком, тем не менее страдала до крайности болезненной скупостью. Она, например, никогда не отапливала своей квартиры и проводила всю зиму в шубе, ничего не варила, покупала на всю неделю 2 раза молока с хлебом и тем кормилась. Скупость ее была баснословная.

Убил ее, вероятно, с целью грабежа, один из жильцов, живших с ней в одном доме. Ее сын — был идиот.

Старший сын брата Достоевского, Андрей Михайлович — блестящий, молодой ученый, умер от прогрессивного паралича. Второе и третье поколение вышеупомянутого брата Михаила, страдали также алкоголизмом.

Вообще вся семья Достоевских представляет из себя резко патологическую семью. О своей болезни, т. е. о своих эпилептических припадках сам Достоевский говорил таким образом:

«Мои нервы расстроены с юности». «Еще за 2 года до Сибири, во время разных моих литературных неприятностей и ссор у меня открылась какая то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь. Рассказать я не могу о этих отвратительных ощущениях, но живо их помню: мне часто казалось, что я умираю, ну, вот, право, настоящая смерть приходила и потом уходила. Я боялся тоже летаргической сна. И странно — как только я был арестован, — вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла. Ни в

пути, ни в каторге, в Сибири и никогда потом я ее не испытывал — я вдруг стал бодр, крепок, свеж, спокоен... Но, во время каторги со мной случился первый припадок падучей — с тех пор она меня не покидает. Все, что было со мной до это первого припадка, каждый малейший случай из моей жизни, каждое лицо, мною встреченное, все, что я читал, слышал — я помню до мельчайших подробностей. Все, что началось после первого припадка, я очень часто забываю, иногда забываю совсем людей, которых знал совсем хорошо, забываю лица. Забыл все, что написал после каторги. Когда дописывал «Бесы», то должен был перечитать все сначала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц». (Воспом. В. С. Соловьева.)

Припадки были раз в месяц, в среднем, иногда и чаще 2 припадков в неделю*). Частота припадков зависит от внешних условий жизни. Если он жил в сносных условиях и не волновался, тогда припадки прекращались на много месяцев.

Страхов в своих воспоминаниях дает описание эпилептического припадка, который он наблюдал в 1856 году приблизительно, причем он говорит, что предчувствие припадка у него всегда было. Поздно вечером, часов в 11, Достоевский пришел к Страхову и оживленно беседовал с ним. Разговор касался отвлеченной темы, и Достоевский вскоре впал в экстаз и стал ходить взад и вперед. Страхов сидел за столом. Когда последний в репликах с ним соглашался, Достоевский обращался к нему лицом, причем на лице было выражение высшей степени экзальтированного возбуждения. На момент он останавливается, как будто он хочет найти недостающее ему слово, и вот он открывает рот. «Я наблюдаю за ним с напряженным вниманием, так как чувствую, что он скажет что нибудь необычайное, какое либо открытие».

...«Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты»... «Вследствие судорог все тело только вытягивалось, да на углах губ показалась пена». «Припадки иногда имели последствием ушибы от падения, боль мускулатуры, красноту лица, иногда выступали пятна на лице. После припадка он чувствовал себя всегда 2—3 дня разбитым, вялым, мысли не вязались, голова не работала, терял память. Душевное состояние его было очень тяжелое, он едва справлялся со своей тоской и впечатлительностью. Характер этой тоски, по его словам (Достоевского) состоял в том, что он чувствовал себя каким то преступником, ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодейство (воспоминания Страхова).

В воспоминаниях Милюкова мы находим описания сумеречного состояния у Достоевского. Достоевский, будто, на улице, при встрече с ним, знакомых обходил, при встрече в обществе не отвечал на поклоны, а иногда относительно людей, ему очень

*) Воспоминания Врагеля, Григоровича и Страхова.

хорошо знакомых, справлялся, кто это такие. Милюков считает, что эти все случаи должны быть истолкованы не как следствие гордости и самомнения, а как следствие его болезни и в большинстве случаев непосредственно после припадка.

Соловьев описывает состояние Достоевского после припадка. «Но он бывал иногда совершенно невозможным после припадка. Его нервы оказывались до того потрясенными, что он делался совсем неменяемым в своей раздражительности и странностях. Придет он, бывало, ко мне, войдет, как черная туча, иногда даже забудет поздороваться и, изыскивая всякие предлоги, чтоб побраниться, чтоб обидеть, и во всем видит себе обиду, желание дразнить и раздражать его... Все то ему кажется не на месте и совсем не так, как нужно, то слишком светло в комнате, то так темно, что никого разглядеть невозможно... Подадут ему крепкий чай, какой он всегда любил — ему подают пиво вместо чая; нальют слабый — это горячая вода... Пробуем мы шутить, рассмешить его, еще того хуже: ему кажется, что над ним смеются. Впрочем, мне почти всегда удавалось его успокоить, нужно было исподволь навести его на какую-нибудь из любимых тем. Он мало-по-малу начинал говорить, оживляться, и оставалось только ему не противоречить. Через час — и он уже бывал в самом милом настроении духа. Только страшно бледное лицо, сверкающие глаза и тяжелое дыхание указывали на болезненное состояние его. Но если, случайно, в подобный день он встречался с посторонними незнакомыми людьми, то дело осложнялось». (Воспоминания В. Соловьева).

«В сношениях с живыми людьми болезненное состояние Д-кого часто сказывалось безмерной раздражительностью, почти невероятными и непонятными вспышками. Изможденное лицо, лицо сидевшего в тюрьме... фанатика сектанта, искажалось злобой и приводило в недоумение до испуга, когда он, буквально, накидывался на людей». (Воспом. В. Соловьева).

Из всех этих данных видно, что Достоевский страдал эпилептическими припадками, которые чаще всего наступали после волнений, аффектов или нравственных потрясений. Самый припадок сопровождался потерей сознания, гиперемией лица и общими судорогами. После припадка он ощущал боли в мускулах, забывал все, что происходило раньше (амнезия). Кроме того, он переживал еще типичную психическую ауру, которая переживалась им, как «несказанное чувство счастья», «чувство близости Бога». Также Достоевский переживал сумеречные состояния. Аффективность его характера и раздражительно-неуживчивый характер отмечается всеми лицами, которые с ним так или иначе сталкивались в жизни.

К патологическим симптомам болезни отметим еще приступы патологического страха смерти и боязнь, что он впадет в летаргический сон. Эти патологические переживания настраивали его ко всякого рода мистическим переживаниям, суевериям и так называемым «загадочным явлениям».

Современники, знавшие лично Достоевского, отмечают, что часто речь его была настоящим экстазом, напоминающим то, что описано на вечере у Епанчиных, где князь Мышкин кончил эпилептическим припадком. В своих воспоминаниях *Стахеев* описывает это таким образом:

«...Сижу, бывало, слушаю, как он, не умолкая, говорит в продолжение целого вечера, и со страхом думаю, что вот-вот он сейчас с ума сойдет, так возбуждена была его речь, и так быстро, сам того не замечая, он перескакивал с одного предмета на другой; и это оканчивалось иногда припадком».

Этот экстаз характерен для аффект-эпилептика. По словам лиц, соприкасавшихся с Достоевским, «экстаз этот принимал непререкаемый тон пророка и провидца, что часто или отталкивало от него людей, или наоборот, покоряло сердца людей».

Розенталь в своей работе «Страдание и творчество Достоевского» (вопросы изучения личности) № 1, 1919 г.) на основании анализа болезни Достоевского диагностирует у него аффект-эпилепсию.

Магомет.

О том, что Магомет страдал эпилептическими припадками-сопровождавшимися галлюцинациями, впервые было установлено историком Шпренгером (Sprenger) в 1861 году в его работе по жизнеописанию Магомета*).

Положения этого ученого, основанные на тщательном изучении этого вопроса, давно служат авторитетным источником авторитетного исследователя, которым можно руководствоваться. И с этого времени тот факт, что Магомет страдал эпилептическими припадками стал достоверным положением. Позднее Шпренгера ряд авторов, как психиатров так и не психиатров пришли к тому же заключению (психиатры: Ireland, Ломброзо, Ковалевский и др.). Так Gibbon, в своем сочинении «Decline and Fall» приходит также к заключению, что эпилепсия или случаи падучей болезни Магомета подтверждены и указываются Феофаном Гонором и др. греческими писателями. Конечно, установление факта страдания Магомета эпилепсией не обошлось без дискуссии. Спор касался не столько самого факта существования припадков (в этом никто не сомневался) сколько — *характера* припадков. Некоторые были склонны утверждать, что эти припадки не эпилептического, а истерического характера, на том основании, что будь Магомет эпилептиком, то он был бы подвержен эпилептическому слабоумию. Магомет же был человек с незаурядными и гениальными способностями, что противоречит, по их мнению, наличию эпилепсии. Конечно, такого рода возражение (относив,

*) Das Leben und Lehre Mohameds, nach bisher Grösstenteils unbekanntenn quellen bearbeitet von A. Sprenger, Berlin 1861.

шеется, между прочим, и к другим эпилептикам—великим и замечательным людям) могло иметь вес и значение лишь в ту эпоху, когда под «эпилепсией» исключительно подразумевали генуинную форму эпилепсии, имеющую прогрессивный характер течения и неизбежно ведущую к слабоумию. В наше время, после того, как Крепелин и Bratz клинически выделили особую форму эпилепсии — как аффективную форму, без прогрессивного течения с исходом в слабоумие, и где обязательно входит в этот симптомокомплекс — истерический компонент, в настоящее время возражения этих авторов теряют силу своих доводов. Мало того, эти авторы подчеркиванием своим истерических симптомов и своей диагностикой — истерии (вместо эпилепсии) — явно говорят в пользу диагностики аффективной эпилепсии. В таких случаях, т. е. там, где есть спор между различными авторами о диагностике, и где одни авторы говорят в пользу эпилепсии и другие в пользу истерии—всегда можно, не склоняясь ни в ту, ни в другую сторону, смело говорить об аффективной эпилепсии, ибо здесь явно идет спор о преобладании одного из 2-х компонентов аффективной эпилепсии, где одними подчеркивается *эпилептический*, а другими *истерический* компонент одной и той же болезни. Картина припадков Магомета древнейшим биографом Магомета Ibn Ishak описывается таким образом: «Магомета лечили от дурных наводнений еще в Мекке, еще до того времени, когда появилось ему откровение Корана. Когда откровение Корана к нему снизошло, он имел те же припадки, которые были у него и раньше. Еще раньше у него появлялось нечто в роде обморочного состояния после сильных судорог; глаза его при этом закрывались, лицо покрывалось пеной, и он вскрикивал так, как вскрикивает молодой верблюд (цит. по Birnbaum, у Pathologische Dokumente, Berlin, Verlag J. Springer, 1923 г.). Во время такого приступа будто он, однажды, упал так стремительно и сильно на колени Заиды, что тот опасался, как бы Магомет не сломал ему колени.

Таким образом, из этого описания припадков мы можем заключить, что его лечили еще до «откровения» Корана от «наводнения» (вспомним отношение древних к падучей, как к «порче», и что припадки сопровождалась даже вскрикиванием (обычно) неестественное вскрикивание эпилептика сравнивается здесь с вскрикиванием верблюда), пеной у рта, «обмороками» после судорог.

Такие же или подобные припадки были у него, когда появлялось откровение.

«Часто, когда пророк получал откровение, казалось, отнимали у него его душу, и тут всегда с ним случалось какое то обморочное состояние, и он выглядел, как опьяненный: губы же шевелились, будто он говорил».

Припадкам этим предшествовали (или сопровождали) экзотатические, галлюцинаторные и снаподобно-делириозные переживания. Эти то патологические переживания и явились источ-

ником «откровения» Магомета. Его Коран и вообще все его религиозное учение — чистый плод таких экстатических, галлюцинозных и делириозных переживаний.

Приводим рассказ Спренгера о том, как Магомет получил первое откровение:

«В это время он почувствовал любовь к уединению и жил совершенно один в пещере на горе Хира, где проводил дни и ночи в молитве и религиозных размышлениях и возвращался домой только за пищей, которую брал с собою на несколько дней; так продолжалось до тех пор, пока он не получил откровения. В пещере Хира ангел явился ему и сказал: «Читай», — он ответил, что никогда не учился читать. «Ангел, говорит Магомет схватил меня и так сжал, что я лишился сил, затем оставил меня и сказал опять: «читай»; я ответил: я никогда не буду читать. Так дважды ангел повторял свое требование и получал один и тот-же ответ; за третьим разом ангел сказал: «читай во имя Господа, сотворившего тебя, — Он сотворил людей из крови читай, Господь есть величайший учитель, Он научил человека писанию, чего тот не знал».

«Дрожа от испуга, пророк вернулся домой и сказал: «Хатиджа, покрой меня» — она укрыла его. Когда дрожь его пропала, он сказал жене; «О, Хатиджа, что случилось со мной» и рассказал все, что произошло с ним, прибавляя: «я боюсь за себя».

Согласно другому показанию, первое откровение Магомета состояло в том, что Магомет видел везде один и тот же образ, куда бы он ни обратился своей взгляд; по другому варианту, Магомет только слышал голос зывающий: «Магомет, Магомет!» когда же он, осмотревшись, ничего не увидел, то он убежал к своей жене и сказал ей, что, боится быть зачарованным и сойти с ума.

Предание говорит также, что во время прогулок Магомета в окрестностях Мекки, каждый камень и каждое дерево встречали его следующими словами: «благо тебе, посланник Бога», он останавливался и осматривался, но никого, кроме деревьев и камней, не было. Магомет слышал эти слова все время, пока «Богу угодно было оставлять его в таком настроении». «Наконец, явился к нему архангел Гавриил и возвестил ему, что он, Магомет, посылается Богом на гору Хира».

Согласно некоторым преданиям, после первого явления архангела Магомету долго не было никаких откровений, и он был настолько смущен этим, что ходил то на гору Шабир, то на гору Хира, с намерением броситься с них в пропасть. Наконец, на горе Хира он услышал голос с неба: он стоял на горе, как вкопанный, когда услышал этот голос и, обратясь в ту сторону, откуда тот был слышан, увидел Гавриила, сидящего между небом и землею на троне со скрещенными ногами. Архангел сказал; «Магомет, ты воистину посланник Бога, а я — архангел Гавриил!». «Теперь Господь обрадовал сердце его и преисполнил храбрости: с этого момента начался целый ряд откровений».

По другому преданию на вопрос, как он получил вдохновение Магомет отвечает: «Вдохновение нисходило на меня двумя способами: иногда Гавриил являлся мне и открывал истины просто, как это делает один человек другому, — это было для меня легко; в другой раз откровения, как звон колокола, проникали непосредственно мне в сердце, как бы разрывая меня на части,—что для меня было очень тяжело». «Айше, его любимая вторая жена, говорит, что она видела лоб Магомета, во время восприятия откровений, всегда покрытым каплями пота, хотя бы был холодный день. Отоман, однажды разговаривая с ним, ясно видел, с каким вниманием тот относился к разговору; вдруг Магомет взглянул направо, повернул туда же голову и как будто что-то шептал; спустя некоторое время он обратил свой взор на небо, повернул голову налево, — а затем опять обратился к Отоману, — лицо его было покрыто потом.

Отоман спросил, что с ним случилось, — на это Магомет ответил ему стихом из Корана, который только что он получил в откровении.

Все эти данные говорят за то, что Магомет был подвержен *галлюцинациям слуха и зрения*. Эти галлюцинации являлись Магомету в то время, когда у него были припадки и когда он был занят глубокими религиозными размышлениями и был так сильно возбужден, что он принял собственные галлюцинации за «видения», посланные Богом. Это убеждение поддерживали в нем его жена Хатиджа и его родственники. — Таким образом, под влиянием галлюцинации он начал свою громкую миссию пророка. Трудно определить характер галлюцинаций Магомета в последние двадцать лет его жизни, но есть основание предполагать, что они сделались менее часты после бегства его в Медину. Однако, после того, как он уверовал, что получает непосредственные откровения от Бога, и когда этому поверили и другие, Магомет начал смотреть на свои сновидения, галлюцинации и импульсы своих мыслей, как на знамение избрания его посланником Аллаха. Галлюцинации Магомета последовательно применялись к препятствиям, критике, оппозиции и наконец, способствовали к проведению быстро распространившейся религии. Казалось, будто кто-то стоял за Магометом, направляя его галлюцинации или бред и делая их способными производить на других впечатление «откровения».

Вся картина болезни Магомета, со всеми ее симптомами, поскольку можно судить из тех скудных данных, которые мы приводим выше,—говорит в пользу психогенного характера заболевания: следовательно, можно говорить больше всего об аффективной эпилепсии. Помимо всей картины болезни у Магомета можно констатировать повышено-эмотивные и экзотические переживания в моменты приступов «откровения», с другой стороны эти экзотические переживания связывались с его припадками.

Платэн.

Немецкий поэт Платэн (Platen) подвержен был тоже эпилептическим припадкам. Об этом он сам свидетельствует в своем дневнике. В записи, датированной 1827 года, в дневнике его, Платэн свой припадок описывает таким образом: «Моя нервная система, которая и так не была совсем здоровой, стала слабеть и расстраиваться вследствие того, что здесь климат такой, протекающий без зимы, а, может быть, также вследствие частого потребления вина и кофе. На 3-й день этого месяца, еще до вечера со мной случился форменный конвульсивный нервный припадок. Я шел с В. ndel, ем и Stadler, ом, с одним архитектором из Берна; недалеко от Sant Maria Maggiore из Villa Mass'ni, где мы смотрели фрески некоторых живых немецких художников, и я со своими спутниками вел горячий спор, как вдруг я потерял сознание и с большой силой грохнулся на землю. Меня привезли в экипаже домой, где я только опять пришел в себя. В продолжение нескольких дней после этого случая, я впал в состояние безграничной меланхолии.

Из этого описания припадка Платэн'а мы видим также связь переживания аффекта (во время спора) с эпилептоподобным припадком.

Альфред Мюссэ.

Ломброзо считает Мюссэ эпилептиком. Многие данные говорят в пользу этого положения. Прежде всего говорит за то его чрезвычайно аффективный характер. Об этом, например, свидетельствует артистка Аллан, бывшая с ним в связи (см. письма Аллан, напечатанные в первом апрельском номере «Revue de Paris» в статье Леона Сэтэ). По ее свидетельству, Мюссэ отличался невозможным характером, доходившим до галлюцинаций, и постоянно пил «до чертиков». Жизнь у них была самая несчастная вследствие такого характера Мюссэ. Аллан пишет о нем: «Мюссэ был восхитителен и казался вполне достойным своих прекрасных сочинений, но зато минута блаженства сменялась самыми ужасными контрастами, когда он был одержим каким-то *бесом жестокости*, надменности, безумия, деспотизма и какой то злобы, доходившей до мрачной экзальтации». При этом Аллан прибавляет: «Я удивляюсь, как он не умер уже сто тысяч раз». Слова Аллан вполне оправдывают Жорж Санд в ее известных похождениях с Мюссэ. Аллан, вследствие такого характера Мюссэ, после бесконечных ссор и примирений, принуждена была окончательно порвать с ним всякую связь. В 1856 году Мюссэ умер «от тоски, отвращения к жизни и абсента» — по словам Додэ.

Ломброзо говорит, что он был галлюцинат и психически больной человек.

Относительно судорожных припадков Мюссэ мы не имеем никаких данных. Но Мюссэ несомненно отличался аффективно-эпилептическим характером.

Петр I.

К числу аффект-эпилептиков надо также отнести и Петра I, который, как известно, отличался чрезвычайно аффективным характером. Приступы возбуждения, жестокости и аффекта могли доходить у него до припадка.

Ришелье.

Наследственность: сестра у него была душевно-больная (она воображала, что у нее спина стеклянная). Ришелье страдал припадками буйства и бешенства, импульсивностью, скоро проходящей. Селли говорит о нем, что у него «сумасшествие имеет характер внезапных и скоро проходящих припадков бешенства». Ломброзо считает его болезнь психической эпилепсией. По словам биографов, он страдал какими-то судорожными припадками, которые несомненно, надо принять за эпилептические припадки, т. к. это больше соответствует всей картине болезни. Страдал в юношестве жестокими головными болями, был очень худощав, имел болезненно-бледный вид, кроме всего всю жизнь болел «мучительными нарывами, какой-то «лихорадкой», «ревматизмом» «каменной болезнью». Из других симптомов эпилепсии мы имеем приступы сумеречного состояния с галлюцинациями эпилептического автоматизма, во время которых он воображал себя лошадью и с громким ржанием бегал вокруг биллиарда. В таких случаях приходилось силою укладывать его в постель, где по прошествии некоторого времени он приходил в себя. Психический и нравственный облик Ришелье рисуется даже его поклонниками не в привлекательном виде, а его врагами — чудовищем. Его жестокость и мстительность доходили до крайностей, также как и его доброта и мягкость. Честолюбив и властолюбив до крайности. Был очень слезлив временами, мог плакать по пустякам и раз по 15 в день, обладая при этом «сценическими способностями» (истерическая позировка). Очень религиозен — до ханжества, любил священнодействовать. Был одержим припадками «мрачной меланхолии».

Несомненно все, что на основании этих данных из картины болезни Ришелье нам вырисовывается, говорит в пользу аффективной формы эпилепсии.

Юлий Цезарь.

Как известно, Юлий Цезарь был также подвержен эпилептическим припадкам. Об этом нам известно из авторитетного источника Светония (Svetonias), который говорит, что у Цезаря в конце его жизни случались внезапные обмороки, он пугался во сне, а 2 раза у него были эпилептические припадки, которые случались с ним во время его усиленных занятий. Плутарх также говорит, что с Цезарем был припадок во время битвы при Тансе; описания припадка мы не имеем, но если мы вспомним его аффективный, деспотический, разгульный характер и ту жизнь, кото-

рую он вел (заставивших многих авторов сравнивать его жизнь с жизнью безумного Калигулы) — то надо думать, что более всего он подходит к аффект-эпилептикам.

Ниже приведем ряд случаев эпилептических и эпилептоидных припадков. Но во всех этих случаях не выяснен еще вопрос о том, надо ли их отнести к аффект-эпилептической конституции или нет. Вопрос этот мы оставляем пока открытым. Приводим их здесь как случаи, где эпилептические припадки в той или иной форме были констатированы.

Огарев.

О том, что Огарев страдал эпилептическими припадками, свидетельствует в своих воспоминаниях жена Достоевского — А. Г. Достоевская. Приводим здесь отрывок из этих воспоминаний на стр. 114 (Воспоминания А. Г. Достоевской, Госиздат, 1925 год).

«Огарев, тогда уже глубокий старик, особенно подружился со мной, был очень приветлив и, к моему удивлению, обращался со мной как с девочкой, какою я, впрочем, тогда и была. К нашему большому сожалению, месяца через три посещения этого доброго, хорошего человека прекратились. С ним случилось несчастье: возвращаясь к себе на виллу за город, Огарев, *в припадке падучей болезни**), упал в придорожную канаву, и при падении сломал ногу. Так как это случилось в сумерки, а дорога была пустынная, то бедный Огарев, пролежав в канаве до утра, жестоко простудился. Друзья его увезли лечиться в Италию, и мы таким образом потеряли единственного в Женеве знакомого, с которым было приятно встретиться и побеседовать». (Стр. 114. Воспоминания А. Г. Достоевской, Госиздат, 1925 г.)

Данте.

Ломброзо в своей работе «Нейроз у Данте и Микель-Анжело» утверждает, что Данте страдал эпилептическими припадками. «Это видно из того, что в «Божественной комедии» он часто описывает припадки у себя самого, заключающиеся в том, что он падает и теряет сознание». Ломброзо цитирует соответствующие места. Также приводятся примеры приступов сомнамбулизма в «Чистилище» Данте и приступы экстаза в «Потерянном рае».

Александр Блок.

О том, что Блок был подвержен эпилептическим припадкам, видно из нижеследующего отрывка из воспоминаний о Блоке Вл. Пяста. (Известно, что мать его была припадочная. Повидимому, он унаследовал от нее эту склонность к припадкам):

* «Наш разговор перешел на обмороки. Я спросил, случались ли они с Блоком.

*) Курсив наш (Г. С.).

— Нет, только один, но самый незначительный.

— Но, все таки, расскажите.

— Не стоит, да хорошенько не помню. Самый обыкновенный.

Мне было тогда лет шестнадцать. Я много читал в тот день; должно быть, кровь прилила к голове, и я упал на мгновение без сознания (курсив мой Г. С.). Вошла мама, и я сейчас же очнулся.

.....

«Я рассказал про свой обморок, тоже бывший со мною лишь однажды.

«В момент падения вся моя жизнь точно пронеслась перед моими глазами. Все ее образы пугались с неестественными образами людей, находившихся со мною в комнате, которые проплывали склоняясь снизу вверх, перед моими глазами... Мое падение длилось... и мгновение и вместе — не ошибусь, если скажу — время, равное веку... Но с экстазом, как выхождением из чувственного мира, этот обморок не имел ничего общего. Все образы были из этой жизни чувственные, так сказать, биографические».

Блок (отвечает)—нет, у меня при обмороке ничего даже и этого не было. (Воспоминания о Блоке» Вл. Пяст. 1923 г., изд. «Атеней» стр. 28).

Диккенс.

Он страдал головокружениями, с потерей памяти, похожими, на эпилептические припадки. Ломброзо определяет его припадки как эпилептические.

Мальборо.

Он был подвержен головокружениям, похожим на эпилептические припадки, и припадкам, которые сопровождались конвульсиями.

Биконсфильд.

Биконсфильд был также подвержен головокружениям, похожим на эпилептический припадок. Еще в юношестве постигла его эта болезнь, которую доктора того времени не могли никак определить. С ним сделался припадок головокружения, притом настолько сильный, что длился целую неделю. Врачи посоветовали ему путешествие, что было сделано, но это лишь немного помогло восстановлению его здоровья.

Перейдем теперь к анализу характера эпилепсии у великих людей. О том, что гениальная форма эпилепсии с ее типичным характером прогрессивности, и с исходом в слабоумие — совершенно исключается, мы уже говорили выше. У нас нет никаких данных для того, чтоб об этом говорить или вводить эту форму эпилепсии в круг наших рассуждений.

О какой же форме эпилепсии может быть речь?

Из всех приведенных нами здесь случаев, где говорится о судорожных припадках, бросается в глаза одно характерное обстоятельство: всегда этим припадкам *предшествует повышенное аффективное переживание*. Так, Лев Толстой в периоды, когда жизнь его протекает без волнений — припадков не знает, но как только появляются неприятные переживания (более или менее тяжелого характера) — у него они сопровождаются припадками (см. выше). Точно также у Достоевского: в более или менее «хорошее» для него время, припадки его прекращались. Но как только случается какая либо неприятность (а их он имел не мало) — он реагирует припадком. Это обстоятельство (т. е. связь припадков с аффективностью) между прочим подчеркивает в своих воспоминаниях его жена (см. «Воспоминания А. Г. Достоевской», Госиздат, 1925 г.).

О Наполеоне свидетельствует Талейран появление припадков, когда он выбежал из комнаты Жозефины *гневный*, схватив Талейрана, в соседнюю комнату, где и упал в конвульсиях с пеной у рта, следовательно, и здесь аффект вызывает припадок.

О Чайковском говорит его биограф, что обычно припадки (или эквиваленты этих припадков), совпадали с тягостными событиями и «испытаниями, порой, чисто житейского характера» (Игорь Глебов).

У Байрона приступы также вызываются нравственными потрясениями. Так, например, когда был решен и объявлен поход одной части отряда в Лепанто для взятия этой крепости (во время его участия в греческом восстании), телохранители Байрона и надежнейшие его воины-сулиоты отказались идти против каменных стен. На Байрона это обстоятельство так повлияло, что вызвало у него сильнейший припадок. Этот припадок, по его словам, был сильнейший во всю его жизнь. Вообще, этот период неудач вызвал у него учащение припадков.

Платэн описывает свой припадок после того, как пережил повышенную раздражительность при одном споре с приятелями. Точно также у Эдгара Поэ, Флобера, Берлиоза припадки связывались с теми или иными аффективными переживаниями. Это обстоятельство дает нам основание сделать заключение, что великие и замечательные люди подвержены той форме эпилепсии (resp. той эпилептической конституции), которая выделена была Крепелином и Bratz'ом в свое время под именем *аффективной эпилепсии*.

Как известно, Крепелин и Bratz выделяют аффективную эпилепсию как особую форму, где, во-первых, отсутствует прогредиентное течение болезни с исходом в слабоумие, присущее генуинной эпилепсии, во-вторых, где припадки связываются с аффективными переживаниями данной личности, следовательно, носят психогенный характер. Эти 2 основных момента служат теми главными признаками, по которым вышеупомянутые авторы отделяют эту аффективную эпилепсию от генуинной формы

эпилепсии. Кроме того, вышеупомянутые авторы считают характерными для аффективной эпилепсии еще и следующие симптомы: наличие психопатической предрасположенности, патологические изменения настроения, приступы патологического страха, состояния затемнения сознания с самообвинениями, иногда с галлюцинациями, бывают также сильные приступы возбуждения с затемнением сознания.

Бросается в глаза в симптомокомплексе аффективной эпилепсии по Крепелину смесь симптомов специфически истерического характера с эпилептическими симптомами. Кроме того, еще то, что мужской пол более подвержен этому заболеванию, нежели женский. На основании клинического течения этой болезни Крепелин считает все таки это заболевание ближе стоящим к эпилепсии, нежели к истерии. Имеются ли все данные симптомов у всех нами здесь приводимых имен великих и замечательных людей?

Выше мы констатировали следующие данные:

1. Наличие той или иной формы эпилептических или эпилептоподобных припадков.

2. Наличие связи этих припадков с аффективными или эмотивными переживаниями.

3. Отсутствие того характерного течения, имеющего прогрессивный характер с исходом в слабоумие. Помимо всех этих симптомов имеются еще и другие характерные симптомы. Психопатическая предрасположенность, считающаяся Крепелином необходимым условием для аффективной эпилепсии, имеется во всех приводимых нами выше случаях. Мы выше приводим данные наследственного отягощения у Толстого, Достоевского, Эдгар Поэ, Флобера, Наполеона, Байрона, Чайковского.

Приступы сумеречного состояния с галлюцинациями и с бредовыми состояниями мы отмечаем у Достоевского, Толстого, Поэ, Чайковского. Приступы патологического страха смерти у Толстого, Достоевского, Поэ, Флобера, Чайковского. Патологические изменения настроения, смена депрессий, экстаза, возбуждения с прочими состояниями мы имеем у всех приведенных личностей почти без исключения. Приступы аффекта с затемнением сознания—у Достоевского, Поэ.

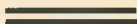
Таким образом, мы имеем все основания для того, чтоб диагностировать аффект-эпилепсию у великих и замечательных людей, как форму преобладающую для них. И если дополнительные исследования по отношению к другим великим и замечательным людям, страдавшим эпилептическими заболеваниями, покажут, что и они подвержены той же форме заболевания, то мы будем иметь основание утверждать следующие положения:

1. Психическая конституция всякого гениально-одаренного человека, у которого есть в наличии эпилептические или эпилептоидные заболевания, есть обязательно конституция аффект-эпилептическая, а не какая либо другая (конечно, возмож-

ные формы симптоматической или органической эпилепсии в круг наших рассуждений не входят: речь идет здесь об эпилептических заболеваниях, связанных с конституцией).

2. Из всех форм эпилептических конституций (если можно говорить об отдельных эпилептических конституциях в смысле Kleist'a) наиболее благоприятной для разряда гениальной одаренности будет — аффект-эпилептическая конституция.

При изучении специальной эвропатологии гениальных эпилептиков мы должны будем это учесть.



Лермонтов с точки зрения учения Кречмера.

Д-ра М. Соловьевой (Смоленск).

Изучение строения тела, связь его с отдельными заболеваниями мы находим уже в давнее время. Всем известны подразделения, выработанные педиатрами на типы конституций — артритическую, лимфатическую, эксудативную; в Германии распространяется французская номенклатура: *Type cerebrale, respiratoire, muskulaire et digestif*, но такое подразделение, благодаря неясности, частичной обоснованности и неточности, не дает понимания о взаимоотношениях тела и психики. Поэтому громаднейшим достижением в этой области является работа Кречмера «Строение тела и характер». В последнее время Кречмеровское учение о связи между строением тела и характером вызвало среди психиатров большой интерес к этому вопросу. Кречмер часто приводит в своих работах иллюстрации (на типах) из среды великих и замечательных людей. Поэтому было бы весьма своевременно с точки зрения учения Кречмера осветить личность Лермонтова. Возможно ли отнести к какой либо группе по классификации Кречмера великого поэта Лермонтова, можно ли найти зависимость между строением тела и его психикой, объяснить некоторые особенности его творчества, считающиеся загадочными и спорными, подтвердят ли полученные выводы, хотя бы частично, учение Кречмера — вот моя ближайшая задача. Имеющийся материал о Лермонтове, его наследственности, некоторых периодах его жизни является весьма скудным. Тем не менее характер этой наследственности определенно обрисовывается приводимыми ниже данными (со стороны матери). О наследственности со стороны отцовской линии нам ничего не известно. Кой-какие данные мы имеем лишь относительно отца Лермонтова. Известно, что Юрий Петрович — отец Лермонтова — был человек вспыльчивый, подчас грубый самодур. Вспыльчивость давала повод к весьма грубым и диким проявлениям. В одну из поездок он поднял руку на свою жену. Немногие, помнящие Юрия Петровича называют его красавцем-блондином, сильно нравящимся женщинам, привлекательным в обществе, веселым собеседником, «*Von vivant*» как называет его воспитатель Лермонтова — Зиновьев.

Мать поэта, Мария Михайловна, происходила из рода Столыпиных, отличавшихся строгим выполнением принятых на себя

обязанностей, рыцарским чувством, чрезвычайной выдержкой, правдивостью, вспыльчивостью, упрямством и самодурством. Бабушка *Лермонтова* — Елизавета Алексеевна, урожденная *Столыпина*, дочь Пензенского помещика А. Е. *Столыпина* — человека для своего времени весьма образованного и развитого, увлекавшегося театром, охотника до кулачных боев и побед, давшего своему многочисленному семейству отличное воспитание. Многие из членов этой семьи представляют собою людей с недюжинным характером, самостоятельных и даровитых. Старший брат Елизаветы Алексеевны — Александр Алексеевич — адъютант Суворова, Д. А. — генерал-лейтенант, А. А. — обер-прокурор Сената, с ним был в деятельной переписке *Сперанский*. Одна из сестер бабушки Ек. А. отличалась «неустраслимым характером». Живя близ Пятигорска в своем имении, часто подвергавшемся нападению горцев, она мало обращала внимания на опасности. Если тревога пробуждала ее от ночного сна, она спрашивала о причине звуков набата, не пожар ли? Когда ей докладывали, что это не пожар, а набег, то она спокойно поворачивалась на другую сторону и продолжала прерванный сон. Бесстрашие ей доставило в кругу родных и знакомых шуточное название «авангардной помещицы». Сама Ел. Ал. была среднего роста, стройна, со строгими решительными, но весьма симпатичными чертами лица, держалась она прямо, всем говорила ты, никогда не стеснялась высказать, что считала справедливым. Настойчивый и решительный характер ее в молодые годы носил на себе печать повелительности и, может быть, отчасти деспотизма. Строгий повелительный вид доставил ей имя «Марфы-посадницы» среди молодежи — товарищей Михаила Юрьевича по юнкерской школе. Дедушка поэта (по матери) Мих. Вас. *Арсеньев* покончил жизнь свою самоубийством — отравился. Будучи влюблен в княжну, живущую по соседству с их имением, он однажды на балу, устроенном в их доме, тщетно ожидал ее прибытия. Ел. Ал. выслала на встречу княжне своих слуг с отказом. Последняя вернулась домой прислав М. В. записку, по прочтении которой он принял яд. Умер 42 лет. От брака Е. А. и М. В. была одна дочь, Мария Михайловна. М. М. — мать поэта — с детства была ребенком слабым и болезненным, и взрослая все еще выглядела хрупким, нервным созданием. Она была очень сентиментальна и мечтательна, отличалась исключительной добротой; тяжело больная, в злой чахотке сама обходила нуждающихся крестьян, лечила их, помогала им в беде. В Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая слугою — мальчиком, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью, помнили, как возилась она и с болезненным сыном. М. М. была одарена музыкальной душой. Посадив ребенка своего к себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, пела ему, а он, прильнув к ней головкой своей, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его душу, и слезы катились по его личику. Мать передала ему необычайную

нервность свою. Всегда они были вместе — эта тоскующая мать и ребенок. Она писала в альбом стихи, а сын тут же набрасывал свои первые детские рисунки. С мужем М. М. жила нехорошо; вскоре после свадьбы вышли недобрые столкновения из-за проживающей у Ю. П. особы, занимавшей место, на которое имела право только его жена. На 22-м году М. М. скончалась от туберкулеза.

Из этих немногочисленных данных, которые мы здесь приводили о родственниках Лермонтова, вырисовывается характер наследственности Лермонтова. Некоторых из его родственников можно определенно отнести к шизоидам и шизотимикам. Так, одна сестра бабушки (со стороны матери) отличалась «неустрашимым характером» («авангардная дама»). Сама бабушка — «Марфа-посадница» — резкая, решительная, настойчивая и деспотичная особа. Все эти черты характерны для шизотимиков. Дедушка по матери 42 лет окончил самоубийством. Мать нервная, мечтательная, туберкулезная особа, должна быть отнесена к шизоидам. Отец — резко патологический самодур; вспыльчивый, жестокий с грубыми и дикими проявлениями характера, кутила и «легкомысленный в своем поведении». По всем этим данным мы также можем заключить, что он был шизоид.

Перейдем теперь к личности самого поэта.

Родился Лермонтов в 1814 году с 2 на 3 октября со всеми признаками тяжелой физической наследственности — упорной золотухи, рахитизма, повышенной нервности. Развитие характера мальчика мы имеем во втором отрывке из неоконченной повести. Саша *Арбенин* живет в деревне, окруженный женским элементом, под руководством няни: с нею Саша странствует по девичьим, или же девушки приходят в детскую. Саше было с ними очень весело. Они его ласкали, целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами храбрости и картинами мрачными и понятиями противообщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. 6-ти лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно сладостное чувство волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Саша был избалованный, пресвоевольный ребенок. Он 7-ми лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея, он умел с презренным видом улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем природная склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный камень сбивал с ног бедную курицу. В этот период он заболевает корью, которая осложняется какой то новой тяжелой болезнью. Характер этой новой болезни нам неизвестен, но известно, что он был при смерти, и тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении; он не мог ходить, не мог приподнимать ножки. Целые три года оставался он в самом жалком положении. Болезнь имела влияние на характер

Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Он начал замыкаться. Воображение стало для него новой игрушкой. В продолжении долгих мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он привыкал уже побеждать страдания тела, отдаваясь аутистическим переживаниям. Он воображал себя волжским разбойником, среди синих и студёных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен под свистом волжской бури. Как Саша Арбенин — Лермонтов перенес трудную продолжительную болезнь. Как Саша Арбенин, он был порой жесток, порой же очень мягок и отзывчив, вступался за крепостных и просил прощения у обиженного. 10-ти лет бабушка везет Лермонтова для поправления здоровья на Кавказ. К этому возрасту относится и его первая любовь.

Вторично поэт влюбляется в возрасте 12 лет. 13 лет бабушка отдаёт Лермонтова в московский пансион. В пансионе Лермонтов учился хорошо. Из всех этих данных мы видим, что Лермонтов родился физически болезненным ребёнком (рахит, золотуха и вообще болезненное состояние). С самого раннего детства у него уже проявлялись черты шизоидной натуры: жестокость, наряду с этим необыкновенная доброта и чувство справедливости, страсть к разрушению, раздражительность, капризность, упрямство, склонность к чрезмерному фантазированию, ранняя влюбленность аутистическая замкнутость, болезненная чуткость и сознание собственного превосходства.

Согласно уговора отца, мальчик до 16 лет должен был оставаться у бабушки, но вот наступил и 16-й год. Лермонтов в это время перенес страшные мучения, которые чуть не довели его до самоубийства. Мысль о самоубийстве мы встречаем в произведениях «Люди и страсти», «Странный человек» и в стихотворениях. Вся борьба между отцом и бабушкой — существами, которых Лермонтов любил много, сосредоточилась на нем. Сначала Лермонтов хотел уехать к отцу, но слезы и скорбь бабушки сделали то, что не могли сделать упреки и угрозы. Отец уехал и вскоре скончался. Смерть отца вызвала у него чрезвычайно сильную реакцию, настолько, что повергла поэта в тяжелое состояние скорби. Он уходил в уединенные места, в лес, поле, на кладбище или проводил бессонные ночи, глядя сквозь окна в ночную тьму, а в голове стучала безысходная мысль покончить с собой. Покой могилы манил его. С таким мрачными думами сидел он у окна своего в Середникове, когда написал свое «Завещание». Висковатый об этом периоде говорит следующее: «Постигшее горе не могло не оставить глубокого следа на характере поэта. Он, что называется, ушел в себя, явилось в нем что-то надломленное. С одной стороны жажда любви, сочувствия, с другой — недоверие к людям и счастью. Он еще больше ушел в природу и в ней отдыхал, и искал облегчения раненой душе своей; не тогда ли в нем родилось обыкновение скрывать от всех все, что было ему особенно

близко и свято. Он весь уходит в аутистическое состояние. Он выказывал людям только внешнюю разгульную сторону свою, то, что немцы называют *galgenhumor*. Это шутки и юмор человека, идущего на смерть и не желающего, чтобы видели, что душа его смертельно поражена. Свое горе по отце он вверял лишь бумаге».

16-тилетним юношей *Лермонтов* поступает в Московский университет. Появление в аудитории этого мрачного необщительного лица поразило товарищей. *Вистенгоф* передает весьма характерный рассказ о том, как держал себя *Лермонтов* в первое время пребывания в университете и какое он производил впечатление на студентов. Тут *Лермонтов* резко выделяется своей замкнутой и эксцентрической натурой.

«Мы стали замечать, что в среде нашей аудитории, между всеми нами один только человек как-то рельефно отличался от других (говорит *Вистенгоф*): он заставил нас обратить на себя особенное внимание. Этот человек, казалось, сам никем не интересовался, избегал всякого сближения с товарищами, ни с кем не говорил, держал себя совершенно замкнуто и в стороне от нас; даже и садился он постоянно на одно место всегда отдельно в углу аудитории, у окна; по обыкновению, подпершись локтем, он читал с напряжением, сосредоточенным вниманием, не слушая преподавания профессоров. Вся фигура этого человека возбуждала интерес и внимание, привлекала и отталкивала. Мы знали только, что фамилия его *Лермонтов*. Прошло около двух месяцев, а он неизменно оставался с нами в тех же неприступных отношениях. Студенты не выдержали. Такое обособленное исключительное поведение одного из среды нашей возбуждало толки. Одних подстрекало любопытство, некоторых сердило. Каждому хотелось ближе узнать этого человека, снять маску, скрывавшую загаданные его мысли, и заставить высказаться. Однажды студенты, близко ко мне стоявшие, считая меня за более смелого, обратились ко мне с предложением отыскать какой нибудь предлог для начатия разговора с *Лермонтовым*. «Вы подойдите, *Вистенгоф*, к *Лермонтову* и спросите, какую это он читает книгу с таким постоянным напряженным вниманием». Недолго думая, я отправился. «Позвольте спросить вас, *Лермонтов*, какую это книгу Вы читаете. Без сомнения очень интересную, судя по тому, как Вы в нее углубились. Нельзя ли ею поделиться и с нами?». Взглянув на книгу, я успел только распознать, что она была английская. Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии, сверкнули его глаза, трудно было выдержать этот насквозь пронизывающий неприветливый взгляд. «Для чего это Вам хочется знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю Вашему любопытству. Содержание этой книги Вас несколько не может интересовать, потому что Вы не поймете тут ничего, если я даже и сообщу Вам содержание ее», ответил он резко, приняв прежнюю позу и продолжая читать. Как бы ужаленный бросился я от него. *Лермонтов* и далее продолжал держать себя по-прежнему». *Вестин-*

гоф говорит: «Видимо было, что *Лермонтов* имел грубый, дерзкий заносчивый характер, смотрел с пренебрежением на окружающих, считал их всех ниже себя. Хотя все от него отшатнулись, а между прочим—странное дело, какое-то непонятное, таинственное настроение влекло к нему и заставляло вести себя сдержанно в отношении к нему, в то же время завидуя стойкости его урюмого нрава. Вне стен университета *Лермонтов* точно также чуждался нас. Он посещал великолепные балы тогдашнего благородного собрания, являлся на них изысканно одетым, в сообществе прекрасных светских барышень, к коим относился также фамильярно, как и к почтенным влиятельным лицам. При встрече с нами он делал вид, что будто не знает нас. Большинство чувствовало существование какой то преграды между собою и *Лермонтовым*, преграды, не позволявшей близко с ним сходиться».

В автобиографической драме «Станный человек» *Лермонтов* дает отдельную сцену, в одной из них говорит об отсутствующем товарище *Владимире Арбенине*, под именем которого — *Лермонтов* в некоторой степени рисовал самого себя. *Арбенин* странный человек. То шутит и хохочет, то вдруг замолчит и делается подобен истукану, или вдруг вскочит, убежит, как будто потолок провалился над ним. Ни в один из существовавших кружков *Лермонтов* не входил. С профессорами у М. Ю. были столкновения; так, профессору *Победоносцеву* на его замечание, чтобы *Лермонтов* отвечал то, что именно читал профессор, а не почерпнутое им из других книг, *Лермонтов* ответил: «Это правда, господин профессор, Вы нам этого, что, я сейчас говорил, не читали и не могли читать, потому что это слишком ново и до Вас еще не дошло. Я пользуюсь научными пособиями из своей собственной библиотеки, содержащей все вновь выходящее на иностранных языках». Подобный же ответ был раньше дан профессору *Гастену*. Может быть, вследствие такого столкновения, может быть, вследствие неудачного экзамена, но продолжать курс в Московском университете оказалось неудобным. Он решил перейти в Петербургский, но там ему отказали зачесть предыдущие годы, тогда он решил поступить юнкером в полк и училище, из коего мог выйти уже в 1834 г. и, следовательно, выиграть два года. Своей подруге он пишет, что сами обстоятельства наталкивают его на путь, в душе ему не совсем чуждый. Лопухиной М. А. он пишет так: «Не могу представить себе, какое действие произведет на Вас моя великая новость—до сих пор я жил для порицания литературного, принес столько жертв своему неблагоприятному идолу и вот теперь я воин. Быть может, тут есть особая воля Провидения, быть может, этот путь короче всех и если он не ведет к моей первой цели, может быть, по нем дойду до последней цели всего существующего; ведь лучше умереть с свинцом в груди, чем от медленного старческого истощения». По поводу перехода *Лермонтова* в школу юнкеров, *Висковатый* приводит следующее: «Часто приходится слышать недоумение или порицание тому, что *Лермонтов* мог перейти из университета в военную школу, ко-

торая представляла своим строем и программой воспитательное заведение, стоявшее несравненно ниже университета. Кажется непонятным, как развитой студент Московского университета мог решиться на такую перемену и не только вступить, но и окончить воспитание в школе». Петербург и общество сразу не понравились *Лермонтову*. Он отстранился от него и ушел в самого себя. По приезде туда в 1832 году он пишет своей приятельнице: «Вы просите назвать, всех у кого я бываю: из всех лиц, с которыми я бываю, приятнейшее общение — это я. Правда, по приезде я навещал довольно часто родных своих, с коими должен был познакомиться, но под конец нашел, что лучший из родственников моих — это я сам». Теперь он еще более уходит в себя, еще больше скрывает от товарищей свой внутренний мир, выказывает только одну сторону — отзыв на их затеи, или же в сердечной скорби глумится над собою и окружающими. Он сразу получил репутацию лихого юнкера. Желание первенствовать было причиной случая, едва не имевшего весьма печальных последствий. Раз, после езды в манеже, будучи еще, по школьному выражению, новичком, подстрекаемый старыми юнкерами, он, чтобы показать свое знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее до кости. Лермонтов проболел несколько месяцев, всю жизнь после этого он слегка прихрамывал. От товарищей М. Ю. любил удаляться; по вечерам, после учебных занятий, поэт часто уходил в отдаленные классные комнаты, стараясь пробраться туда незамеченным товарищами, и там один просиживал долго и писал до поздней ночи. В 1834 году юнкера издавали журнал «*Школьная Заря*». Тут Лермонтов поместил ряд своих поэм, заслуживших ему известность нового *Баркова*. Произведения эти отличались жаркой фантазией и подчас прекрасным стихом, но отталкивали своим цинизмом и грязью. В это время он пользовался репутацией эротического поэта. Бывали случаи, что сестрам и женам запрещали говорить о том, что они читали произведения *Лермонтова* — это считалось компрометирующим. *Пыпин* делает такое заключение о влиянии на Лермонтова лет, проведенных в школе. «Лермонтов, в детстве мало общительный, не был общителен и в школе. Он представлял товарищам своим шуточные стихотворения, но не делился с ними тем, что выказывало его задушевные мысли и мечты, только немногим ближайшим друзьям он доверял свои серьезные работы. У него было два рода серьезных интересов, две среды, в которых он жил, очень непохожие одна на другую — и если он старательно скрывал лучшую сторону своих интересов, в нем, конечно, говорило сознание этой противоположности. Его внутренняя жизнь была разделена и беспокойна. Его товарищи, рассказывающие о нем, ничего не могли рассказать, кроме анекдотов и внешних случайностей его жизни». Два года, проведенные в школе, *Лермонтов* считает страшными годами. Известно, что за разные «шалю-

сти» и мелкие проступки *Лермонтов* очень часто сидел на гауптвахте. То он являлся на развод с маленькой чуть, не детской игрушечной саблей, то, отсидев за это, завел саблю больших размеров, которая при его малом росте, казалась еще громаднее и, стуча о панель или мостовую, производила ужасный шум. По свидетельству *Растопчиной* проказы, «шалости» и шутки всякого рода, после пребывания *Лермонтова* в школе гвардейских подпрапорщиков, сделались его любимым занятием. «Насмешливый, едкий, ловкий, вместе с тем полный ума, самого блестящего, богатый, независимый, он сделался душою общества молодых людей высшего круга, он был запевалой в беседах, в кутежах, словом, всего того, что представляла жизнь в эти годы». К этому периоду жизни *Лермонтова* относится его встреча с *Е. А. Хвостовой*, отвергнувшей его любовь в 15 лет. Он снова стал ухаживать за ней из расчета, в чем сознается в письме к *Верещагиной*, мстит за прошлое, компрометируя перед светом и, наконец, когда родители ее считали его уже женихом, он шлет анонимное письмо, в котором уговаривает изгнать *Лермонтова* из дома. при этом описывает про себя всякие ужасы.

В 1837 году, узнав о смерти *Пушкина*, *Лермонтов* следующим образом реагировал на нее: написал стихи на смерть *Пушкина*. он лежал дома нервно-больной, расстроенный. Узнав подробности от пришедшего к нему *Столыпина* М. Ю. вступил с последним в горячий спор. Запальчивость поэта вызвала смех со стороны *Столыпина*, который тут же заметил, что у *Мишеля* слишком раздражены нервы. Но поэт был уже в полной ярости, он не слушал собеседника и, схватив лист бумаги, да сердито поглядывая на *Столыпина*, что-то быстро чертил по нем, ломая карандаши по обыкновению одни за другим. Увидав это, *Столыпин* полушопотом и улыбаясь заметил: «la poésie enfante». Наконец, раздраженный поэт напустился на собеседника, назвал его врагом *Пушкина* и кончил тем, что закричал, чтобы он сию же минуту убирался, иначе он за себя не отвечает. *Столыпин* вышел со словами: «Но он совсем сумасшедший». Через четверть часа *Лермонтов*, переломавши с полдюжины карандашей, прочел *Юрьеву* заключительные 16 строк своего стихотворения. За эти стихи он был в 1837 году 26 февраля переведен в Нижегородский гусарский полк на Кавказ, откуда возвратился вновь в Петербург в 1838 году, как говорит *Висковатый*, другим человеком. «Юношеская веселость уступала все чаще припадкам меланхолии». Сам поэт говорит про себя: «Я здесь по-прежнему скучаю». В 1840 году состоялась дуэль между *Де-Барантом* и *Лермонтовым*. Причиной дуэли большинство считает четверостишие, в котором *Лермонтов*, оскорбленный предпочтением, с цинизмом отозвался о предмете страсти *Де-Барант*. *Лермонтов* снова отсылается на Кавказ, где состоит под начальством генерала *Галафеева*. Барон *Россильтон*, бывший в отряде *Галафеева* старшим офицером, сообщает следующее про *Лермонтова*: «*Лермонтов* был неприятный насмешливый человек и хотел казаться чем то особенным. Он хвастал своей храбростью,

как будто на Кавказе, где все были храбры, можно было кого либо удивить ею. Лермонтов собрал какую то шайку головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия, врезывались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались громким именем «Лермонтовского отряда». Длилось это недолго, впрочем, потому что Лермонтов нигде не мог усидеть, вечно рвался куда то и ничего не доводил до конца. Когда я его видел на Сулаке, он был мне противен необычайной своей неприятностью, он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и выглядела почерневшею из-под вечно расстегнутого сюртука поэта. Гарцевал Лермонтов на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив белую холщевую шапку, бросался на чеченские заралы. Чистое молодечество, ибо кто же кидался на завалы верхом. Мы над ним за это смеялись». Ходил Лермонтов всегда небритым, в походе он отпустил себе бакки и дал волю волосам расти и на подбородке — это было против правил формы, но растительность у Лермонтова на лице была так бедна, что не могла возбудить серьезного внимания строгих блюстителей устава. Боевая жизнь Лермонтову нравилась. Ему доставляло как будто особенное удовольствие вызывать судьбу. Опасность или возможность смерти делали его остроумным, разговорчивым, веселым. Лермонтов часто переступал установленные служебные правила, он очень любил «шалости» и всевозможные выходки, за что *Краевский* называет его «странным». Князь *Васильчиков* о «шалостях» Лермонтова говорит следующее: «Лермонтов был шалун в полном ребяческом смысле слова и день его разделялся на две половины между серьезными занятиями и чтением и такими шалостями, какие могут придти в голову разве только 15-ти летнему мальчику; например, когда к обеду подавали блюдо, то он с громким смехом бросался на него, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанья и часто оставлял всех без обеда. Чем больше и серьезнее он работал, тем, казалось, чувствовал большую необходимость дурачиться и выкидывать разные чудачества». В *Пятигорске* многие называли Лермонтова выскочкой, задирой, ожидали случая, когда ктонибудь, выведенный им из терпения, прочит «ядовитую гадину». И вот на одном из вечеров 13-го июля 1841 года *Лермонтов* своей даме сказал остроуту о *Мартынове*. Слово *roignard* раздалось громко по всему залу. В результате со стороны *Мартынова* последовал вызов и 1841 года 15-го июля *Лермонтов* был убит.

Любовь, играя важную роль в жизни каждого человека, особенно знаменательна в судьбе *Лермонтова*. Первое увлечение относится, как было уже сказано, к 10-ти годам, затем в 12-ть, 15-ть лет и далее. Иногда было достаточно мимолетной встречи, чтобы сердцем поэта овладело бесплотное видение и заставило его забыть неясным любовным тлеющим. Среди многих мимолетных привязанностей, как всеми биографами, так и критиками признана была глубокая и искренняя любовь к В. А. Лопухиной. Интересно проследить его отношение к ней. Любовь их имела

характер неясный, колеблясь между братским чувством и влюбленностью. Варенька ему казалась изменчивой, непонимающей его, в стихотворениях к ней отразились все колебания чувства от нежнейших привязанностей до горьких упреков, до выражения ревности, негодования, вспышек ненависти, но во всяком случае непритворного душевного страдания. *Лермонтов* и сам не мог дать ясного отчета в чувстве своем; то полный восторженной радости, то мрачного отчаяния, ревности или презрения, он и отходил, и вновь возвращался к любимому существу, полный стыда и отчаяния. Уехав в Петербург, он хранит упорное молчание, хохочет, когда ему говорят о ней, увлекается другими. Но вот она выходит замуж за *Бахметьева*: одно известие о свадьбе возмущает *Лермонтова*, в нем опять пробуждается чувство, он не находит себе места. «Мы играли с Мишелем в шахматы, рассказывает *Шан-Гирей*, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел: я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: «вот новость, прочти» и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве *Лопухиной*». По выходе *Лопухиной* замуж — *Лермонтов* всю жизнь мстит ей, осмеивая *Бахметьева*. Котляревский говорит так: «*Лермонтов* был великий мастер любовной песни во всех ее отношениях, конечно, потому, что умел любить: любил он часто и глубоко, и мимолетно и несомненно, что этот порядок чувств был одним из тех, с которыми ужиться ему было всего легче». Андреевский, характеризуя *Лермонтова*, высказывает следующее: «Любовь дразнила *Лермонтова* своим неизменно повторяющимся и каждый раз исчезающим подобием счастья. Он любил мстить женщинам за это постоянное раздражение. Едва ли не отсюда произошло его злобное дон-жуанство, холодное кокетство с женщинами, вызывавшие столько нареканий на его память. Печорин сам презирает в себе эту недостойную игру с женщинами, но сознается, что никак не может отстать от нее: я «только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радость и страдания, и никогда не мог насытиться: нехоти было бы мне говорить о них с такой злостью, мне, который кроме их ничего на свете не любил, мне, который всегда готов им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнью. Но я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них — есть следствие «ума холодных наблюдений и сердца горестный полет». Первое страдание даст удовольствие мучить другого... Я был готов любить весь мир, меня никто не понял, и я выучился ненавидеть». А вот следующие откровенные слова *Лермонтова* о любви и дружбе: «Есть необъяснимое наслаждение в обладании молодой едва распустившейся души. Она, как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца, его надо сорвать в эти минуты и, подышав им досыта, бросить на дороге; авось ктонибудь под-

нимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути, я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде; ибо честолюбие есть ничто иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие—подчинять моей воле все, что меня окружает. Возбуждать в себе чувство любви, преданности и страха не есть ли первый признак и величайшее торжество власти... Есть минуты, когда я понимаю вампира, а еще слышу добрым малым и добиваюсь этого названия».

Часто посещали *Лермонтова* мысли о смерти, нередко он испытывал власть судьбы. В одном из стихотворений читаем следующее:

«Я предузнал мой жребий, мой конец.
И грусти ранняя на мне печать.
И как я мучаюсь, знает лишь Творец,
Но равнодушный мир не должен знать и далес:
На месте казни гордый, хоть презренный.
Я кончу жизнь свою».

В «Герое нашего времени» он говорит: «быть может завтра я умру...» Товарищ *Гвоздев* так о нем рассказывает: «восьмого июля он встретился с поэтом довольно поздно на Пятигорском бульваре. *Лермонтов* был в странном расположении духа, то грустен, то вдруг становился желчным и с сарказмом отзывался о жизни и обо всем его окружавшем. Между прочим, в разговоре он сказал: чувствую, мне очень мало осталось жить. Как у всех психопатических личностей, сновидения играют огромную роль в жизни *Лермонтова*. Через неделю он дрался на дуэли. Неоднократно *Лермонтов* писал о «вещих снах». «Странная вещь эти сны», говорит он *Лопухиной* в своем письме. Сны производили сильное впечатление на поэта; 8-ми летним ребенком он видел сон, о котором говорит 8 лет спустя в своем стихотворении.

Психопатия *Лермонтова* так ярко бросалась всем в глаза, что не могла не быть незамеченной даже не психиатрами. Все критики поэзии *Лермонтова*, признавая глубоко субъективный и автобиографический характер этой поэзии, отмечают, прямо или косвенно, ту или иную психопатическую черту *Лермонтова*. А некоторые прямо говорят о болезненности душевного склада *Лермонтова*. Интересно будет поэтому проследить эти оценки критиков *Лермонтовской* психопатии.

Так, профессор *Петухов* говорит: «В своих произведениях *Лермонтов* отразил собственную личность. Окруженный материальным довольством, родственной любовью и заботами, он, однако же, тяготится жизнью, ищет забвения, тоскует, он презирает судьбу и мир, живет без веры, жалуется на старость «без седин», чувствует усталость, грустит, оплакивает свою жизнь

все проклинаят, как лживый сон, как обманчивую мечту, наконец, главным источником его страданий является неразделенная погибшая любовь. Оценивая *Лермонтова*, как лирика, он говорит: «поэт сперва инстинктивно, затем сознательно приходит к мысли, что главным источником поэтического вдохновения явится не внешний мир со всем разнообразием его красок и звуков, а внутренний мир поэта, его страдающая и томящаяся душа. Его призвание — поведать людям тайну своих душевных мук. Ему нужно беспокойство, страсти, душевные бури. «А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой». Стихотворение «Не верь себе» имеет характерный для субъективного поэта эпиграф; *Les poètes ressemblent aux ours, qui se nourrissent en suçant leur patte*. В стихотворениях, которые считаются особенно характерными для поэзии *Лермонтова*, поэт выразил тревогу души своей, глубокую грусть, тоску бытия, разочарование. В основе этих безотрадных чувств лежала другая психологическая антитеза, столь же субъективная; она сводилась к противопоставлению чувств и понятий, выражаемых терминами: очарование — разочарование, кипучая игра душевных сил и их увядание, расцвет души и ее преждевременная старость, жизнь и смерть.

«Произведения *Лермонтова* так тесно связаны с его личной судьбою, кажутся мне особенно замечательными в одном отношении. Я вижу в *Лермонтове* прямого родоначальника того духовного настроения и того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий, которые для краткости можно назвать нищезанятием...» И далее: «Первая и основная особенность *Лермонтовского* гения — страшная напряженность и сосредоточенность на себе, на своем «я», страшная сила личного чувства: не ищите у *Лермонтова* той прямой открытости всему задушевному, которая так чарует в поэзии Пушкина. Пушкин, когда и о себе говорит, то как будто о другом, *Лермонтов*, когда и о другом говорит, то чувствуется, что его мысль из бесконечной дали стремится вернуться к себе, в глубине занята собою, обращается на себя. Нет надобности приводить этому примеры из произведений *Лермонтова*, потому что из них немного можно было бы найти таких, где бы этого не было. Ни у одного из русских поэтов нет такой силы личного самочувствия, как у *Лермонтова*» (Владимир Соловьев).

«В поэзии *Лермонтова* мы видим пламя ночного пожара, недолгое, неровное, но исключительно яркое, мы видим болезненное умирание погребального факела, подавленный трепет могучей личности, не нашедшей себе места в окружающей обстановке» (Бальмонт).

«В том виде, в каком поэзия *Лермонтова* перед нами — она неразрешимый диссонанс.» (Котляревский).

«Все, все в поэзии *Лермонтова* и рай, и ад». (Белинский).

Спасович, *Мережковский* и др. указывают на процесс деятельности ума *Лермонтова*, имеющий метафизический склад.

Первый говорит: «склонности к мистицизму у *Лермонтова* не был, но всеми своими помышлениями он стремился к сверхчувственному, к недоступному для нашего ума и больше жил в этой угадываемой области, нежели в мире действительном. Беру поэтическую автобиографию поэта, его «11-е июня 1831 года»: «Моя душа, я помню с детства чудесного искала, я любил все обольщения света, но не свет, в котором я минутами лишь жил — и те минуты были мук полны. И населял таинственные сны я этими мгновениями... Все образы мои не походили на существ земных. О, нет все было ад иль небо в них». — «Желания этой души необъятны, они направлены к чудесному, к тому, чего никогда дать не может земная жизнь, реальное бытие. Ей кажется, что она достигает подобия желаемого состояния, в редкие моменты наисильнейшей страсти».

Личность *Лермонтова* чрезвычайно ярко выступает в лице *Печорина* — «Герой нашего времени». «*Печорин* автопортрет *Лермонтова*. В нем воспроизведены важнейшие стороны натуры *Лермонтова*, склад ума его, его психологическое отношение к людям, его социальное самочувствие. *Печорин* — натура эгоцентрическая, осложненная сознанием своего превосходства перед другими людьми» (Овсянико-Куликовский).

Овсянико-Куликовский считает *Печорина* несомненно нравственным калекой, в том смысле, что одна половина его души, именно лучшая, погружена в род летаргии, не обнаруживается, не функционирует, а проявляется и действует только другая, показная, та, которая могла проложить ему дорогу в свете. Далее он указывает, что *Печорин* близок к душевному извращению и некоторому моральному недугу, что в человеке, которому от роду 25—26 лет, предающемуся столь интенсивному самоанализу, думающему, что он достиг высшего самопознания — мы вправе видеть в нем симптом болезненного развития души.

«Вспомните Героя нашего времени, вспомните *Печорина*, этого странного человека, который с одной стороны томится жизнью, презирает ее и самого себя, не верит ни в нее, ни в самого себя, носит в себе какую то бездонную пропасть желаний и страстей, ничем ненасытимого, а с другой — гонится за жизнью, жадно ловит ее впечатления, безумно упивается ее обаянием, вспомните его любовь к Беле, к Вере, к княжне Мэри и потом поймите эти стихи:

Любить. Но кого же?
На время не стоит труда,
А вечно любить невозможно...
(Белинский).

«*Печорин* существо совершенно двойственное, человек, смотрящий в зеркало перед дуэлью с *Грушницким* и рыдающий, почти грызущий землю, как зверенок *Мцыри*, после тщетной погони за *Верой*. Что такое *Печорин*? Поставленное на ходули бессилие личного произвола» (Ап. Григорьев). }

«В последнем очерке «Демон» является лицом двойственным. Тамара не понимает, что он такое, добро или зло в нем.

То не был ангел небожитель
Ее божественный хранитель,
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный

.....
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет...

Двойственность характерна для всей поэмы «Демона». *Лермонтову* сродни созданный им образ «Демона», «чей взор надежду губит, едва надежда расцветет».

В стихотворении «11 июня 1831 года» поэт говорит, что привык к этому состоянию, но выразить его не мог бы ни ангельский, ни демонский язык, ангел и демон таких тревог не ведают, в одном все чисто, в другом все зло, и только у человека можно встретить такое сочетание священного с порочным (Незеленов).

Овсяннико-Куликовский дает такое заключение о поэте: «Меланхолик по унаследованному укладу психики, *Лермонтов*, бесспорно, принадлежал к тому типу неуравновешенных, который характеризуется тем, что впечатления от внешнего и от внутреннего мира в большинстве окрашиваются мрачным колоритом, радости быстро увядают, тоскливое настроение становится затяжным, жизнь обесценивается, ни в чем человек не находит ни отрады, ни утешения, и слишком назойливо навязывается ему мысль о смерти».

«*Лермонтов* был прежде всего человек с природным меланхолическим складом души... Откуда взялась эта меланхолия—вопрос неразрешимый... Из этой меланхолии вытекала и ранняя серьезность. Всякий, даже легкий вопрос жизни принимал в глазах поэта преувеличенные размеры. Вторым прирожденным даром была сила фантазии. Эта живость мечты находилась также в прямой связи с меланхолическим темпераментом поэта и его замкнутой жизнью... (Котляревский)».

Из этих отзывов различных критиков мы видим, как характеризуется болезненная психика *Лермонтова*: «страдающая, разочарованная душа», «эгоцентрическая натура», «странный человек», «нравственный калека» «близкий к душевному извращению и моральному недугу», «болезненная душа», «меланхолик», «неуравновешенный человек» и т. д.

Все эти определения психики *Лермонтова* — не психиатрами — бросаются резко в глаза и напрашиваются на оценку и освещение психопатолога.

Признание *Лермонтова* поэтом-лириком уже предопределяет его положение в группе шизотимиков. *Кречмер* говорит; «Как у циклотимиков преобладает объективное, так у шизотимиков решительно преобладает лирическое и драматическое. Это не-

обычайно важная черта, которая характеризует произведения обеих групп поэтов с объективностью документа или естественного научного эксперимента».

Возможно ли остановиться на этом определении или должно сделать шаг в ту область пограничных состояний, которая носит название шизоидии или патологических личностей. Для разрешения этого вопроса подойдем к жизни личности и творчеству *Лермонтова* с точки зрения *Кречмера*. Из тех немногих сведений, которые имеются о некоторых родственниках *Лермонтова*, можно с большою или меньшею уверенностью отнести их к шизотимикам и шизоидам; так, одна сестра бабушки (со стороны матери) отличалась неустрашимым решительным характером (авангардная дама), сама бабушка «Марфа-Посадница», решительная, резкая, правдивая, настойчивая, деспотичная,—все указанные черты характерны для шизотимиков. Дедушка (по матери), о характере которого ничего неизвестно, 42 лет отравился вследствие неудачной любви — поступок, заставляющий видеть некоторое уклонение: мать поэта сентиментальная, мечтательная, нервная, туберкулезная, необыкновенной доброты, умерла 22-х лет от туберкулеза — благодаря этим чертам должна быть отнесена к группе шизоидов; отец поэта — резкий, вспыльчивый, легкомысленный, незначительный, с грубыми и дикими проявлениями характера, кутила, веселый собеседник, самодур — по всем данным шизоид. Такая наследственность (шизотимики и шизоиды) среди родственников, наиболее часто обуславливает появление среди потомства аномальных личностей и больных шизофренией. Родился *Лермонтов* рахитичным и золотушным, в течение многих лет оставался болезненным, слабым ребенком. С самого раннего детства в нем проявляются черты, которые считаются наиболее характерными при развитии шизоидной личности, как то: жестокость (он любил мучить живогных, нередко был груб), наряду с этим необычайная доброта и чувство справедливости, страсть к разрушению, раздражительность, капризность, упрямство, гиперфантазирование, раннее развитие и болезненная чуткость души. Несмотря на то, что детство *Лермонтова* протекало в благоприятных условиях (он рос, окруженный любовью, лаской и заботами) в нем рано пробуждается недовольство жизнью, склонность к уединению, чувство одиночества, сознание собственного превосходства и отчужденности. С другой стороны — окружающая обстановка: чрезмерная любовь бабушки, богатство, потворство всяким капризам — способствовали еще большему развитию указанных выше черт. Жизнь в себе, аутизм, — основная черта для шизоидов у *Лермонтова* ярко бросается в глаза чуть не с колыбели. Первый конфликт с жизнью (раздоры между бабушкой и отцом, смерть отца), падающий на период полового созревания, служат толчком к тому, что *Лермонтов* окончательно замыкается в себе и становится для окружающих человеком непонятым, таинственным, странным, эксцентричным, оставаясь таковым до смерти.

Товарищи *Лермонтова* чувствуют между собою и им существование какой то преграды, не позволяющей с ним сходиться, Искренним и простым он был с немногими избранными, в которых был уверен (то, что *Кречмер* называет избирательной средой). Графиня *Расстончина* так рисует его по отношению к кружку:

Но лишь для нас, лишь в тесном круге нашем
Самим собой, веселым, остроумным.
Мечтательным и искренним он был.
Лишь нам одним он речью, чувства полный,
Передавал всю бешеную повесть
Младых годов, ряд пестрых приключений...

Во время пребывания в школе юнкеров он поверхностно общителен, без более глубокого контакта с окружающим миром. В нем были поверхность (его отношение к людям) и глубина, т. е. жизнь в самом себе, резко отграниченная друг от друга. *Лермонтов* никогда не растворяется в среде, для него существует «я» и внешний мир, в свое «я» он никого не пускает, боясь, что его не поймут или заденут. Он невыразимо страдал от всякого неловкого прикосновения. Чем старше становился он, тем труднее допускал кого либо в святое-святых своего «я», напротив, старался стать к человеку такой стороной, чтобы всякое случайное задевание его чутких струн становилось затруднительным, говорит *Висковатый*. Между ним и окружающей средой происходят постоянные конфликты (в пансионе, с профессорами и товарищами в школе прапорщиков и на военной службе).

Как герои *Лермонтова* полны капризов и неожиданностей, так и сам поэт; *Печорин* в дождик и холод бывал целый день на охоте; «все иззябнут, устанут, а ему ничего: а другой раз сядет у себя в комнате — ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставень стукнет — он вздрогнет и побледнеет, а ходил на кабана один на один; «бывало по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда начнет рассказывать, так животики надорвешь от смеха».

Характерна, как для шизоида, смена быстрая настроения у *Лермонтова*; с Кавказа поэт летел в Петербург, из Петербурга вновь на Кавказ, веселился в обществе и возвращался домой печальный, был печален в обществе и ехал веселиться за город, проказничал, как школьник, и вдруг становился угрюм и серьезен... (Котляревский).

В жизни и творчестве *Лермонтова* имеется то, что Влессет называет амбивалентностью — в нем уживается одновременно глубокая и искренняя любовь с кокетством и издевательством, глубокая грусть с постоянной жаждой выставить себя на показ и рисоваться. Одновременно очарование всем прекрасным и разочарованность во всем, что и дало повод критикам называть его очарованным и разочарованным — одним, и безочарованным гругим.

Для *Лермонтова*, как для шизоида и шизофреника, существуют только крайности или Бог, или чорт, ад или рай.

Но все образы мои,
Предметы мнимой злобы и любви,
Не походили на существ земных.
О, нет, все было ад иль небо в них.

Не менее характерной чертой для *Лермонтова* является любовь к противоречиям. «Вся жизнь моя была цепь грустных противоречий» — *Печорин*.

Любовь занимает первейшее место в жизни М. Ю., приносит ему всегда страдания. Как у большинства шизоидов, мы видим у него преждевременное пробуждение сексуального чувства. В любви *Лермонтов* тот же, что и в жизни — то он неожиданно влюбляется, то внезапно остывает, уходит сам, уйдя любит снова. В злобном отношении к женщине не малую роль играет опять таки то, что встречается часто, по мнению *Кремера*, у шизоидов — комплекс, в данном случае комплекс наружности. Как *Байрон*, болезненно преувеличивая свои физические недостатки, он не верил в искреннее чувство женщины. Молитва и преступление, любовь и ненависть находят себе союз, по видимому странный и в то же время неразлучный, как это было и в его собственном сердце «где так безумно, так напрасно, с враждой боролась любовь» (*Айхенвальд*).

«Ранняя любовь, не понимаемая и оскорбляемая в чуткой душе, заставила его болезненно воспринимать и корчиться от того, что почти незаметно пережито было бы другими, он бросился в крайность». (*Висковатый*).

В основе всей личности *Лермонтова* лежит дисгармония его душевной деятельности, разлад между чувством и умом. *Печорин* умен и в нем есть чувство, но в душе его нет согласия между умом и сердцем; холодный анализ убивает порывы чувства, сомнения подрывают веру. «Во мне два человека, пишет *Печорин*, в дневнике; один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки со строгим любопытством, но без участия». В душе *Печорина* пылкость сердца соединяется с холодом скептицизма и разочарования, как это есть в драме «Странный человек». Будучи всегда занят собою, *Лермонтов* и в своих произведениях эгоцентричен. Вся его поэзия имеет автобиографическое значение и в ней отражаются все шизоидные черты его характера.

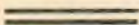
Кремер находит тесную связь между строением тела и характером, возможно ли установить таковую и в данном случае. *Лермонтов* был среднего или даже низкого роста с непомерно широким туловищем, с большой головой, сутуловат, немного кривоног, с нежными выхоленными руками; лицо бледное с весьма слабой растительностью; темные волосы с светлым белокурым клочком чуть повыше лба окаймляли хорошо развитый лоб; большие темные глаза казались вовсе не участвовали в

насмешливой улыбке на красиво очерченных губах. Он обладал большой физической силой, был ловок, смех его был неприятен и резок. Дисгармония психики отражалась и в его наружности. По имеющимся данным его можно причислить предположительно к типу диспластиков, дающих с психической стороны шизоидов и шизофреников.

Таким образом, согласно учения *Кречмера*, *Лермонтов* должен быть отнесен к группе гениальных психопатов. (шизоидов). Благодаря учению *Кречмера*, которое, по мнению его, является лишь началом новых изысканий, есть возможность понять и осветить те черты нашего гениального поэта, которые были загадкой не только для него самого, но и для биографов и критиков.

Для будущего исследователя личность *Лермонтова* даст богатый патогRAFический материал.

Приношу глубокую благодарность профессору *М. П. Кутанину* за предложенную им тему, а также за все ценные указания.



К суицидомании М. Горького.

(Дополнительные материалы *).

Д-ра И. В. Галант (Москва).

Из многих рассказов Горького, содержащих автобиографические данные к многострадальной жизни Максима Горького, «Рассказ Филиппа Васильевича» (1905), героем которого является Платон Багров, заслуживает особенное внимание. В этом рассказе повествуется о самоубийстве Платона Багрова и о причинах этого самоубийства, мотив очень часто повторяющийся в произведениях Горького. Нетрудно догадаться, что Горький часто рисовал самоубийство, находясь под невероятно сильным впечатлением совершенного им самим на девятнадцатом году жизни покушения на самоубийство, от которого он чуть не погиб. После этого покушения на самоубийство начался метаморфоз Пешкова в Максима Горького. Понятно, что это событие, которое может быть названо «воскресением к новой лучшей жизни» превратилось в аффективно сильно окрашенный комплекс, который часто осаждал Горького, так что он невольно возвращался к описанию самоубийства, копаясь в тех душевных переживаниях, которые вели его к этому столь пагубному шагу и разбирая различные вопросы этики и житейской мудрости в связи с самоубийством.

Горький до того часто говорит в своих рассказах о самоубийстве и заставляет так часто своих героев покушаться на самоубийство, или кончать самоубийством, что можно говорить о «литературной суицидомании» Горького.

«Макар Чудра», «Скуки ради», «Трое», «Коновалов», «Хан и его сын», «Исповедь», «Жизнь ненужного человека», «Жизнь Матвея Кожемякина» и т. д., и т. д. — в этих и многих других больших и малых рассказах Горького один или несколько из действующих лиц рассказа кончают самоубийством по различным причинам, разбирать которые для нас в данном случае не представляет никакого интереса. Интересно лишь отметить самый факт, что ни один писатель может быть не описывал так много самоубийц, как Горький, факт объяснения которого мы уже дали.

*) См. мою статью «О суицидомании М. Горького» в III выпуске Книж. арх. Генпаль. и одар. за 1925 г.

Из рассказов Горького, основной мотив которых самоубийство героя, особенный интерес представляют те рассказы, в которых мы можем проглядеть историю покушения на самоубийство самого Горького. На один из таких рассказов, на «Случай из жизни Макара», указывает нам *Горький* сам в «Моих университетах», а про другой про «Рассказ Филиппа Васильевича» он совершенно умалчивает, несмотря на то, что идентичность героя этого рассказа, Платона Багрова, с Максимом Горьким более чем очевидна.

Платон Багров, юноша 19 лет, будучи дворником у профессора, влюбился в дочь этого профессора, в Лидию Алексеевну. Лидия Алексеевна не принимала Платона в серьез всячески над ним шутила и Платон не вытерпев горечи безнадежной любви, застрелился.

Отметим, что когда Алексей Пешков (Горький) покушался на самоубийство ему было тоже приблизительно девятнадцать лет. Эта деталь в сходстве героя «Рассказа Филиппа Васильевича» и Алексея Пешкова была бы, конечно, бесценна если не другие более существенные моменты, служащие доказательством того, что Горький рисовал Платона с модели покушавшегося на свою жизнь А. Пешкова.

Как наружность, так и весь духовный склад Платона напоминает нам юношу Пешкова: «Высокий и костлявый, он был угловат в движениях. Его темные короткие волосы немного вились, глаза смотрели вдумчиво, спокойно, и в скуластом лице было что то значительное».

Что касается личности Платона Багрова, то это был, как и Алексей Пешков, полуинтеллигент из народа, потерявший связь с естественной своей средой и ищущий пока что напрасно «смычки как мы теперь сказали бы, с интеллигенцией. Платон Багров, как Алексей Пешков, читает книги, пишет стихи, не плохие, как говорит Филипп Васильевич:

— Прощай! Душа — тоской полна...
Я вновь, как прежде, одинок,
И снова жизнь моя темна....
Прощай мой ясный Огонек!
Прощай!

и так далее.

Оторванность от своей естественной среды, невозможность проникнуть в круги интеллигенции заставляют Платона Багрова томиться в очень опасном для его чувствительной души одиночестве. Платон страдает под гнетом своего одиночества, ибо, хотя он от природы боязлив и застенчив, жилка общности в нем довольно сильно развита, чтобы одиночество становилось для него тяжелой, угнетающей, нестерпимой пыткой. Дворовые люди высмеивают Платона за то, что он не пьет водки, читает

книжки, не грызет подсолнухи и т. д. «Прислуга дома считает Платона глупым за то, что он не ухаживает за горничными, не сидит у ворот, истребляя семена подсолнухов, и читает книжки. Его поведение в глазах кухарки и горничных было не свойственно дворнику, говорил он много непонятно, — все это раздражало людей кухни».

Интеллигенция же со своей стороны отзывается о Платоне устами Лидии Алексеевны:

— «Чудак он. — Такой смешной длинный... и все философствует там в кухне... а над ним смеются за это»...

Или устами Филиппа Васильевича;

— «Он слишком самонадеян... считает себя исключительной личностью, и способен забрать себе в голову бог знает, что!»

Между такой Сциллой и Харибдой жил и Алексей Пешков перед покушением на самоубийство. Вспомним, как описывал Горький в «Случае из жизни Макара» одиночество Макара, непонятого ни народом, ни интеллигенцией, и томящегося этим одиночеством до того, что он временами терял самообладание, и его разум совершенно затемнялся...

Когда Платон Багров влюбился и любовь его была отвергнута под шутливыми насмешками, то муки его одиночества и чувство заброшенности и отвержения его всеми обострились до того, что жизнь его в этих условиях не могла дальше держаться, не имея никаких положительных, питающих ее элементов. Платон Багров застрелился и положил этим конец тем мукам жизни, с которыми бороться было ему не по силам.

Так поступил и Алексей Пешков, но с совершенно другим успехом. Пешков застрелился не на смерть и вылез из своей раны. Но не в этом дело.

Горький, рассказывая о последних моментах жизни Макара, перед покушением его на самоубийство (в «Случае из жизни Макара»), отмечает между прочим, что Макара был влюблен не то в Настю, не то в ее подругу и одно ласковое слово женщины могло бы вернуть ему интерес к жизни и спасти его может быть раз навсегда от рокового шага. Рассказывает Горький о любви Макара между прочим и в таком иронизирующе-юмористическом тоне, что приходится заключить, что Горький этому моменту в сущности придавал очень мало значения на общий ход событий. В рассказе же «Филиппа Васильевича» Горький, рисуя Платона Багрова «с натурь» по Алексею Пешкову «вздуд горой факт любви Пешкова к Насте, и у Багрова одна лишь несчастная любовь служит основным мотивом самоубийства. Это обстоятельство позволяет нам думать, что вопреки насмешливому отношению Горького к любовным чувствам юноши Пешкова, чувства эти были довольно серьезные, и сами по себе были способны к тому, чтобы вызвать в юноше тяжелое отчаяние, раз они не встречали

взаимности. Вот почему «Рассказ Филиппа Васильевича» имеет большое автобиографическое значение. Он льет много света на любовную жизнь Максима Горького вообще и на роль любовных чувств Пешкова в его решении покончить самоубийством, роль неясно и даже несколько искаженно представленная в «Случае из жизни Макара».



Pseudologia phantastica у Максима Горького.

Д-ра И. Б. Галант (Москва).

Была осень 1892 голодного года, и Алексей Пешков (Горький) странствовал в качестве «проходящего» человека по Кавказу. Работал летом в Сухуме, теперь же находился в дороге между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря.

Сидел Алексей прислушиваясь к веселому шуму светлых вод реки Кодор и лоя сквозь этот шум глухой плеск морских волн любовался великолепием кавказской природы и наслаждался «пьяным медом», который пчелы делают из цветов лавра и азалии, и который Алексей выбирал из дуплов старых буков и лип на риск быть искусаным злыми пчелами.

Вкусно позавтракав Алексей Пешков двинулся не спеша в путь. Он недолго шел и вдруг слышит — «тихий стон в кустах — человеческий стон, всегда родственно встряхивающий душу».

«Раздвинув кусты, рассказывает Горький, вижу — опираясь спиною о ствол ореха, сидит баба, в желтом платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянут, глаза выкатились и безумны, она держит руки на огромном животе и так неестественно страшно дышит, что весь живот судорожно прыгает, а баба придерживает его руками, глухо мычит, обнажив желтые волчьи зубы.

— Что — ударили? — спросил я, наклоняясь к ней, — она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной пыли и болтая тяжелой головою хрипит:

— Уди-и... бесстыжий... ух-ходи...

Я понял в чем дело — это я уж видел однажды, — конечно, испугался отпрыгнул, а баба громко, протяжно завывала, из глаз ее готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно-надутому лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиною на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях, она оттолкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повернулась и точно медведица, рыча, хрипя, пошла на четвереньках дальше в кусты;

— Разбойник... дьявол...

Подломились руки, она упала, ткнулась лицом в землю и снова завывала судорожно, вытягивая ноги.

В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнув ноги — у нее уже вышел околоплодный пузырь.

— Лежи, сейчас родишь...

Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и — стал акушером».

Вот с какой быстротой молнии *Горький* импровизировал из себя акушера! Это могло бы показаться невероятным, и чуть ли не божественным вдохновением, если бы мы не знали, что бабушка *Горького*, Акулина Ивановна Каширина, с которой *Горький* провел все свое детство, и которая посвящала своего внука во все свои тайны, была между прочим повитухой, так что *Горький* имел случай познакомиться уже в детстве с самыми элементарными приемами родовспоможения, тем более, что он невольно присутствовал на родах матери, тети и т. д. При чем мы видим, что необходимость безупречной чистоты, чтобы не сказать дезинфекции, при ведении родов была хорошо известна в народе и практиковалась, насколько чистота в обыкновенных условиях жизни народа практиковаться может. Также узнаем мы, что положение на спине с согнутыми в коленях ногами считается в народе самым естественным положением при родах. *Горький* настаивает на том, чтобы его «баба» оставалась во все время родов именно в этом положении.

Что касается самой роженицы, которой выпала на долю большая честь иметь *Горького*, правда в то время чуть ли не бродягу Алексея Пешкова, своим акушером, то она как большинство русских женщин из народа считает недопустимым, чтобы мужчина присутствовал при родах, ругает своего акушера бесстыжим, разбойником, дьяволом, бьет его и всячески старается отделаться от него. Напрасно, Алексей твердо решил проявить в данном случае свое искусство акушера и продолжает вести роды:

«Баба извивалась как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя, и вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землю страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка — я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот...

Мы немножко ругали друг друга, — она сквозь зубы, я — тоже негромко, она — от боли, должно быть от стыда, я — от смущения и мучительной жалости к ней...

— Х-хосподи, — хрипит она, синие губы закушены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце все льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и все тело ее ломается, разделяемое на двое.

— Уж-ходи ты, бес...

Слабыми, вывихнутыми руками, она все отгалкивает меня. я убедительно говорю:

— Дуреха, родим знай, скорее...

Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать и я кричу:

— Ну, скорей!

И вот на руках у меня человек—красный. Хоть, и сквозь слезы, но я вижу, — он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, буянит, и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:

— Я-а... Я-а...»

Это самоутверждение своего собственного я, которое прослушал Горький в первом крике новорожденного очень любопытно вызывает на различного рода размышления. Можно впрямь подумать, что правы те, которые утверждают, что человек рождается отчаяннейшим эгоистом. Приводят впрочем в доказательство этой истины тот факт, что человек рождается со свернутыми в кулачек ручками. Свернутые в кулак руки символизируют желание захватить весь мир. Когда же человек умирает, то он размыкает руки, как бы показывая, что ему отнюдь ничего не нужно... Получает ли эта символика подтверждение в услышанном Горьким в первом крике новорожденного самоутверждении своего «я» — этот вопрос мы не беремся разрешить...

Однако, будем следить за дальнейшими акушерскими приемами Горького. Горький продолжает свой рассказ:

«Такой скользкий — того и гляди уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу — очень рад видеть его! И — забыл, что надобно делать...

— Режь... — тихо шепчет мать — глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:

— Ножиком... перережь...

Ножь у меня украли в бараке — я перекусываю пуповину ребенок орет орловским басом, а мать — улыбается, я вижу: как удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем — темная рука шарит по юбке, ища карман, и окровавленные, искусанные губы шелестят;

— Н-не... силушки... тесемочка кармани... перевязать пупочек...

Достал тесемку, перевязал, она — улыбается все ярче, так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой улыбки.

— Оправляйся, а я пойду вымою его...

Она беспокойно бормочет:

— Мотри — тихонечко... мотри-же»..

Нельзя сказать, чтобы наш акушер действовал по всем правилам искусства. Однако, в тех условиях, в которых работал Горький, и другой, более опытный акушер, остался бы пожалуй беспомощным. Не имея, ни ножниц, ни ножа, чтобы перерезать

пуповину, пожалуй ничего лучшего не оставалось, как перекусить ее зубами, прием, которым впрочем пользуются животные, чтобы отделить новорожденного от матери — итак прием вполне естественный. Если же Горький сначала перекусил пуповину и лишь потом перевязал ее тесемочкой, то в этом пожалуй можно усмотреть ошибку, которую легко было бы избежать. А впрочем, можно ли вообще говорить об ошибках там, где все делается самым примитивнейшим образом, так что невольно приходится думать о животных...

Горький продолжает:

«Этот красный человечиче вовсе не требует осторожности; он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним.

— Я-а... Я-а...

— Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут...

Особенно серьезно и громко крикнул он, когда его впервые обдало пенной волной моря, весело хлестнувшей обоих нас; потом когда я стал нашлепывать грудь и спинку ему, он зажмурился, забился, завизжал пронзительно, а волны, одна за другой, все обливали его.

— Шуми орловский! Кричи во весь дух...

Когда мы с ним воротились к матери, она лежала, снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, низвергавших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны и вздохи, я слышал ее умирающий шепот;

— Дай... Дай его...

— Подождет...

— Дай-ко...

И дрожащими неверными руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплomu ее телу буйного орловца, он сразу все понял и замолчал».

Так кончились первые заботы нашего акушера о родильнице и ее сыне. Однако, ему еще предстояло позаботиться о последе.

«По камням прыгает, поет струя светлой и живой как ртуть, воды, в ней весело кувыркаются осенние листья — чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты — женщина беспокойно оглядываясь, ползет на коленях по земле, по камням.

— Чего тебе?

Испугалась, посерела и прячет что то под себя, я — догадался.

— Дай мне, я зарюю...

— Ой, родимый, как-же? В предбаннике надо бы под полом...

— Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!

— Шутишь, ты, а я — боюсь! Вдруг зверь съест... А ведь место надобно земле отдать...

Отвернулась в сторону и подавая мне сырой, тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:

— Уж ты — получше как, поглубже, Христа ради, жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней).

Эта вера, или вернее суеверие Орловской бабы, что послед надо непременно зарыть в предбаннике, и что если не предать последа земле и его съедят звери, то с новорожденным случится несчастье, принадлежит к бесчисленному числу суеверий, существующих у всех культурных и некультурных народов в связи с родами. В интересной статье, озаглавленной «Die Plazenta als Heilmittel in der Volksmedizin» (Детское место, как лечебное средство в народной медицине) и напечатанной в «Zentralblatt für Gynäkologie» № 27. 1925. Хохлов пытался дать обзор этих суеверий у различных народов с точки зрения целительной силы детского места. Главным образом верят различные народности России (а также и другие народы), что лекарственное употребление плаценты может женщин вылечить от бесплодия. В Мозырском уезде Минской губ., женщины, страдающие бесплодием берут у акушера $\frac{1}{4}$ ложки превращенной в порошок плаценты, разводят порошок в воде или в водке и пьют эту микстуру в надежде забеременеть. В Малороссии женщины в таких случаях пьют воду, в которой плавают высушенный пупочный канатик, или же пьют несколько капель крови из пупочного канатика новорожденного или, наконец, жуют самый пупочный канатик и т. д., и т. д. Что сказала бы наша Орловка об этих «варварских» женщинах из родственных ей национальностей, которые хотят родить детей, «делая несчастье» уроденных уже детей?..

Зарыв послед, Горький напоил родильницу чаем, накормил ее медом, и сейчас же после этого — итак, несколько часов после родов! — родильница вместе с Горьким двинулась в путь.

«Шли — тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, скидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына — глаза ее насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.

Однажды, остановясь она сказала:

— Господи, Боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы все — шла, все бы шла, до самого аж до краю света, а он бы, сыночек рос, да все бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя...

...Море шумит, шумит...»

* * *

Если я включаю этот очерк об акушерском подбиге Горького в число патографических очерков о Горьком, то это имеет полное свое основание, несмотря на то, что читатель до сих пор может быть не проглядел той связи, которая могла бы существовать между этим подвигом Горького и психопатологическими чертами

его личности. Впрочем, читатель действительно не в состоянии открыть эту связь, т. к., я опустил одну подробность из рассказа Горького, которая одна может открыть ему глаза на эту связь. Вот какова эта подробность.

Когда Горький разводил костер, чтобы поставить чайник, у него завязался с родильницей следующий разговор:

— Первый у тебя?

— Первенькой... А ты — кто?

— Вроде как бы человек...

— Конечно, человек... Женатый?

— Не удостоился...

— Врешь?

— Зачем?

Она опустила глаза подумала:

— А как же ты бабьи дела знаешь?

Теперь совру. И я сказал:

— Учился этому. Студент — слыхала?

— А как же! У нас у попа сын старшой студент, тоже на попа учится.

— Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой...

Потом за чаем разговор родильницы с ее акушером принял такой оборот:

— «Бросил ученье то?..»

— Бросил.

— Пропился, что-ли?

— Окончательно пропилился, мать!

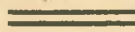
— Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме приметила, когда ты с начальником из-за харчей ругался, так тогда и подумалось мне — видно, мол, пропойца, бесстрашный такой...

Мы встречаемся здесь с фактом, что Горький сознательно без всякой нужды искажал правду, или попросту говоря — врал. черта характера до того чуждая Горькому, что она вызывает крайнее наше удивление. Нам известно, что Алексей Пешков был крайней честности юноша, не переносил лжи в какой бы то ни было форме и говорил всегда откровеннейшую правду, во вред своим собственным интересам! Как же это могло случиться, что в данном случае Алексей Пешков без нужды, так отчаянно, легкомысленно врал? Где психологическое или психопатологическое объяснение этого удивительного, даже невероятного явления?

Мы видим объяснение фантастической псевдологии (Pseudologia phantastica) Горького в связи с акушерским его подвигом, в том «исключительном душевном состоянии» (по немецки *Ausnahmestand*!), в котором находился Горький, проявляя свою акушерскую деятельность. Что Горький, совершая акушерский свой подвиг, «был в ударе» и действовал под влиянием какого-то вдохновения видно из того места его рассказа, где он говорит, что в «горячке возбуждения!» он сразу вспомнил все, что знал по этому делу (акушерству) и чувствовал себя вполне способным

вступить в роль акушера! Эта «горячка возбуждения» (A u s n a h m e z u s t a n d) не оставляла Горького все время пока он себя чувствовал акушером и только благодаря этому, A u s n a h m e z u s t a n d'у, который заставил Горького забыть на время действительность, как она в самом деле есть, и окрылила его фантазию до того, что он себя чувствовал настоящим акушером, могло случиться, что Горький дал полную свободу своей фантазии и в другом направлении, и невозможное для Алексея Пешкова сделалось возможным; он говорил ложь, которая будучи следствием исключительного душевного его состояния, следствием «горячки возбуждения», представляет собой ту форму лжи, которая научно обозначается: pseudologia phantastica.

Подвиги никогда не совершаются людьми в «нормальном» душевном состоянии, а в исключительном душевном состоянии, может быть действительно в «горячке возбуждения», как выражается Горький в случае акушерского своего подвига. Недопустимо однако думать, что те A u s n a h m e z u s t a n d e, в которых люди совершают свои подвиги, не будучи «нормальными» — патологичны, ибо в таком случае мы принуждены были бы считать подвиги людей патологическим проявлением их большой душевной жизни, с чем не мог бы согласиться ни один здравомыслящий человек. То исключительное душевное состояние, однако, в котором люди совершают подвиги, будучи таковым, что оно выбрасывает человека из повседневного обычного его душевного равновесия, может легко дать повод к развитию патологических черт характера, как это было в описанном нами здесь акушерском подвиге Горького, где дело скоро дошло до фантастической псевдологии (Pseudologia phantastica *).



*) Описание акушерского подвига А. Пешкова находится в рассказе Горького: «Рождение человека» — первый рассказ XII тома Собрания сочинений. Госиздат. Ленинград 1924.